

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 47

1967



Надежда ЧЕРТОВА

**СУХОРЕЧЕНСКИЕ
СЕСТРЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 47

Надежда ЧЕРТОВА

СУХОРЕЧЕНСКИЕ СЕСТРЫ

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1967

Надежда ЧЕРТОВА

Надежда Васильевна Чертова родилась в 1903 году в семье земского врача. В годы гражданской войны училась в школе, а затем работала в уездном комитете комсомола (б. Самарская губ.). В 1921 году вступила в партию. Писать начала в середине двадцатых годов.

Первую свою книгу — повесть «Горькая пена» — издала в Москве (ГИХЛ, 1931 г.). В последующие десятилетия были написаны и опубликованы романы «Пролегли в степи дороги», «Девушка в шинели», повести «Клавдия», «Саргассово море» и др.

СУХОРЕЧЕНСКИЕ СЕСТРЫ

I

В стародавние времена эта деревня стояла на берегу полноводной степной реки, и старики со слов дедов своих передавали, что название у деревни было иное — веселое и легкое: Трими-хайловка.

Неторопливая, глубокая река весьма лестно упоминалась в сочинениях славного писателя и великого охотника и рыбака Сергея Тимофеевича Аксакова. Но уже при внуках его было замечено, как губительно изнуряют здешнюю местность налетающие с азиатской стороны жгучие ветры пустыни. А в начале нынешнего века засуха взяла такую силу, что река стала мелеть, берега ее постепенно обвалились и сровнялись с безжизненной ровностью степи, рыба пропала, кустарники засохли, и через какой-то десяток-другой горячих суховейных годов превратилась река в жалкий ручеек, через силу струящийся по песчаному ложу, который только и напоминал о былых глубоких заводях и омутках...

Вот тогда-то почти у каждой избы появились высокие журавли колодцев, люди стали искать и находить воду лишь на большой глубине, и деревня как-то неприметно приобвыкла к новому своему названию — Сухая Речка.

Старики, еще хранившие в памяти прежнюю сильную реку, в которой они мальчонками-несмышльеньшами плавали, ныряли и власть нежились на тихой волне, с тоскливой опаской говорили:

— Сожрали пески реку, сожрут и деревню.

Песок, желтый, зернистый, как золото, и в самом деле неустанно подкатывался к околицам, оседая непрочными, струящимися барханами.

Жили в Сухой Речке не шумно и не весело. Народ тут был неприметный и работающий. То ли от суши, от неустанного наступления пустыни, то ли от вечной тишины молодежь подымалась здесь чинная, смиренная. У старших перенимала она пес-

ни, в которых вспоминалась и мелькала быстротечная жизнь древней Тримихайловки. Эти песни по вечерам парни и девки распевали протяжно и с обрядовым старанием.

А летом по широким улицам крутились вихри и песок хрустел на зубах, запорашивал глаза, проникал под одежду. Крайние избы отгребались от сыпучих накатов, как от сугробов. С великим трудом, можно сказать, с мучением, оттаивали сухореченцы свои огороды, неутомимо сдобривая пески навозом и за десяток верст на телегах привозя чернозем. На полив тоже не скупились.

Зато выручали сухореченцев бахчи, окружавшие деревню: тонкокорые арбузы сами раскалывались в руках, дыни-дубовки сладостью своей могли поспорить с азиатскими прославленными чарджуйками, оранжевые сочные тыквы вырастали величиной с колесо.

«Покати их по травке — они до края света дорогу найдут!» — невесело шутили сельские учительницы сестры Рубцовы, похваливая эти тыквы.

Были сестры Рубцовы почти что прирожденные сухореченцы. Первой в песчаной деревне появилась Фелицата. В те времена — года за два до войны с японцами — было ей двадцать пять лет. Средняя сестра, восемнадцатилетняя Любаня, год спустя получив звание учительницы, последовала за старшей. А младшая, Наталочка, поначалу приезжала в Сухую Речку только на каникулы — она училась в уездной гимназии. Немало протекло времени, раньше чем Наталочка прошла дополнительный девятый класс и, повторяя путь старших сестер, добилась назначения в ту же сухореченскую школу.

Учительской квартиры при школе не было, первое время Фелицата нанимала дом у просвирни. Сюда приняла она на житье Любаню, а впоследствии, прикопив деньги, построила, вернее, слепила из самана, свой дом.

Вот тогда-то сестры осели в Сухой Речке так прочно, словно здесь была их вторая родина.

В чистеньких комнатках учительниц остро пахнет мятой, над белой кроватью Наталочки висит гитара с лиловым бантом, на хромом столике у зеркала лежат два потрепанных альбома с крымскими цветными открытками и портретами знаменитых артистов. Но учительницы редко заглядывают в альбомы, предпочитая в свободное время томиться у окна. Как раз напрогив их домика скрипит и наклоняется к колодцу журавель. Вот баба наполнила ведра и уходит, лениво шевеля бедрами. Бадья еще долго покачивается, и с нее срываю-
тся алмазные капли.

Больше смотреть не на что.

А если выйти из домика, перед глазами развернется деревня, соломенная, убогая, задавленная песками.

Учительницы из года в год одолевают положенное им одиночество и старятся, окруженные голосистыми бабами и белоголовыми ребятишками.

Но о чем могли бы рассказать погасшие глаза рыхлой толстухи Фелицаты? Что скрыто в печально-сосредоточенном молчании Любани? И почему так неистовы жалобы Наталочки на скудную тишину, на пески и на одиночество?

...У Фелицаты был один необыкновенный год. В весну этого года, перед окончанием школьных занятий, она почему-то затосковала о Наталочке, которая в то время еще училась в младших классах гимназии. Тоска была столь сильна, что Фелицата прямо свету не взвидела. Любаня пожалела ее и, переняв у нее класс, отпустила к Наталочке.

Примерно через месяц Наталочка неожиданно для Любани одна приехала на попутной подводе: по ее словам, старшая сестра должна была вернуться спустя пять-шесть дней, потому что ей понадобились услуги зубного врача.

Но пять дней миновали, затем неделя прошла, и сестры получили от Фелицаты коротенькое письмецо, извещавшее, что она еще на некоторое время задержится в городе.

Явилась она только в августе, в счастливом оживлении, очень ее красившем, с порывистыми движениями и лихорадочным блеском в глазах.

Тут сестры впервые услышали о подпоручике Баеве.

Но должна была проволочиться длинная зима, и звонкий смех Фелицаты не раз сменялся слезами, пока не пришло то майское утро, когда пара вороных, запряженных в тарантас, подкатила к домику учительниц и из тарантаса ловко выпрыгнул молодой офицер. Фелицата кинулась к нему навстречу. Сияя от счастья, она ввела жениха в дом.

Подпоручик Баев чуть смущенно улыбался и раскланивался, щелкая шпорами. Он прожил у сестер несколько дней, а потом уехал в Маньчжурию, на фронт.

Фелицата аккуратно получала конверты со штампом военно-полевой почты. Потом подпоручик замолчал. А однажды в домик учительниц принесли телеграмму. Прочитав ее, Фелицата разрыдалась, с судорожной поспешностью собрала свой саквояжик и помчалась в город, на станцию железной дороги. В телеграмме было всего два слова: «Тяжело ранен». И адрес далекого восточного городка.

Из этого городка Любаня стала получать торопливые открытки. Содержание их было малопонятно: Фелицата почему-то упорно писала о ценах на фрукты.

Возвратилась она совершенно неожиданно, через несколько месяцев, бледная, повязанная косынкой сестры милосердия. Поцеловав Любаню и Наталочку, приехавшую на рождественские каникулы, коротко сказала:

— Умер.

И отвернулась к окну. Потом предостерегающе подняла ладонь и глухо добавила:

— Об этом не надо говорить...

...С того года приобрела Фелицата прочную желтизну щек, усталое спокойствие разлилось во всей ее вдруг потучневшей фигуре; не судьба ей, верно, была стать доброй женой и матерью, и, значит, одно оставалось: взять в свои руки несложное хозяйство домика.

С радостью, с упоением, чуть ли не с иступленной любовью Фелицата стряпает и хлопочет на кухне. Коронное кушанье ее— слоеный пирог с капустой и яйцами. Он настолько бывает ароматен и нежен, что тронь его неумелой рукой — и не станет пирога: рассыплется на мелкие крошки. Случись гость в этот торжественный момент — захаает он от удивления и начнет расхваливать завидное искусство Фелицаты.

— Ну уж вы скажете,— молвит она и манерно опустит гасящие глаза.

II

В канун праздников в домике учительниц начиналась суматоха. Пахло перекаленным утюгом, пронзительными духами, подгоревшими котлетами. Строго установленный в домике порядок бесовесно нарушался: мягкое кресло Фелицаты торчало неладом, свесив до полу встрепанные кисти, всюду валялись платья и торопливо рассыпанные шпильки. А рано утром, повязанные цветными шарфами, неся в руках завернутые в марлю, отутюженные костюмы, Наталочка и Любаня отправлялись пешком в город, Фелицата же с терпеливым постоянством оставалась сторожить дом.

От Сухой Речки до города считают тринадцать верст, но идут эти версты буераками и сплошными песчаными бурунами-холмами. Когда сестры, тяжело дыша, одолеют последний холм, перед ними вдруг откроется простор. Внизу лежит широкая равнина, за лесом, в синем тумане, таинственно блестят главы церкви уездного города. И еще всплывают белые клочки дыма над единственной заводской трубой, издали похожей на тонкий черный карандаш.

Сестры сворачивают на узкую тропу, протоптанную среди

жирной целины чернозема. Наталочка прыгает с тропинки в сторону, ноготками выколупывает комок черной, влажной земли и восторженно сует его под унылый нос Любани.

— Понюхай... пахнет. Это настоящая земля. Она хлеб родит, травы, леса!

— Пахнет,— оживляется и Любани,— это тебе не песок...

Так сестры входили в город. Запыленные, веселые, они сворачивали в первый же переулок и втискивались в домик, прикипший к земле, поседевший от старости. Там их встречала дальняя родственница Федора Ивановна, или, как звали ее сестры, тетка Хлоя.

— Пришли...ссс... девки? — говорила разбухшая от водянки тетка, едва справляясь с удушьем.— Фелицата... ссс... здорова ли?

С полатей свешивал голову дед Трофимыч, муж Федоры,— лысый, с худым, длинным лицом, был он похож на апостола. Но любопытства в нем было до суетности много: у сестер он неизменно спрашивал о сухореченских новостях.

Сестры плескались у рукомойника и наперебой тараторили, что у Дуни Мяжкой волк овцу зарезал, что к Парамоновым нынче сватов засылают, а в среду страшный вихрь прошел и капустную рассаду с корнем повыдрал...

— Вон что!...— сочувственно откликнулся Трофимыч.

Тетка же, страшно сопя, уже разливала чай и ставила на стол любимые Наталочкины маковые пирожки.

Вечером сестры надевали свои костюмы, одинаковым бантом завязывали шарфы и шли на Большую улицу.

Большая улица — это кварталы магазинов и купеческих особняков, это блеск электричества и многолюдье, на какое только способен маленький городок, где театр, по причине бедности, закрыт уже три года, где много церквей, а люди живут скучно и одиноко...

Толпа гуляющих волочится от угла до угла, разламываясь на два встречных потока. Здесь шумно болтают и тихо шепчутся, здесь смеются и показывают наряды, а самое главное — здесь завязывают знакомства, кончающиеся иной раз свадьбой.

Единственный в городе кинотеатр, или, как тогда говорили, синемаграф «Отрада», также помещался на Большой улице. Но посещали его не очень-то охотно: в городке упорно распространялась жуткая история о том, как где-то в Киеве или в Астрахани сгорел синемаграф и в нем сто двадцать обывателей.

— Сгорите! — говорили смельчакам, отворявшим тяжелую дверь «Отрады», и делали при этом большие глаза.

III

В «Отраде» картины шли с музыкальным сопровождением, и аккомпаниатором был Тэвс, младший из семьи чудаков, известных городу замкнутым образом жизни и нелюдимостью.

Дом их — Тэвса и двух его дядюшек — был наполнен музыкой или мертвенной тишиной. Город не прощал им гордой отъединенности и отвернулся от них, переполненный ответным презрением.

С особенно острым недоброжелательством относились к младшему Тэвсу посетители синемаатографа: бесцеремонно переговаривались, хором читали надписи на экране, когда музыкант играл, но топали ногами, когда музыка задерживалась.

Тэвс появлялся возле рояля перед самым началом сеанса и исчезал, пока свет в зале еще не вспыхивал в полную силу.

Но однажды сеанс почему-то припоздал, и Тэвс, ожидавший, когда устроят беспорядок, довольно долго сидел у рояля. Тут-то и увидела его Любаня — они с Наталочкой с трудом добыли билет в один из первых рядов. С недоверчивым, а потом и жадным изумлением разглядывала Любаня молодого аккомпаниатора. Он, оказывается, был невысоким крепышом, его темные, чуть припухшие глаза диковато поблескивали из-под взлохмаченной шапки кудрей. На пюпитре и на крышке рояля не было нот. Когда же погас свет и только перед лицом музыканта осталась слабо горевшая лампочка, Любаня заметила, что Тэвс импровизирует. Игра его показалась Любане широкой, свободной, захватывающей, и она присидела весь сеанс, глядя не на экран, а на темную, неподатливо отъединенную от всех фигуру Тэвса.

Ничего она не сказала Наталочке. А Наталочка не понимала, что происходит с сестрой, обычно сдержанной до немоты, и только удивлялась нетерпению, с каким Любаня тащила ее в синемаатограф.

Удивительно было и то, что билеты сестра стала покупать в ближние, неудобные ряды, а на экран вовсе не смотрела.

В конце концов Любаня, словно бы изнемогая от скрытной, непосильной своей ноши, не выдержала и после одного из сеансов, когда они с сестрой двигались в распаренной толпе к выходу, с волнением шепнула Наталочке:

— Посмотри, вон — Тэвс.

— Где? — спросила Наталочка с усталым безразличием.

Тэвс стоял у зеленой портьеры, Наталочка встретилась с ним глазами и мгновенно испытала на себе странную двойственность его взгляда, рассеянного и глубокого. Лицо у нее жарко запылало.

«Ну вот и все»,— с грустью подумала Любаня и низко опустила голову: больше ей незачем было смотреть на Тэвса. На сердце у нее как будто полегчало, только чей-то глухой голос сказал со стороны: «Как странно: у Фелицаты это было тоже в двадцать семь лет...»

— Он похож на Бетховена,— негромко произнесла Наталочка, когда они уже отошли от синемаатографа.

— Кто? — рассеянно спросила Любаня.

— Тэвс,— ответила Наталочка и надула губы...

Любаня не ошиблась: чувство сразу бурно захватило двадцатилетнюю, избалованную Наталочку — она была младшая в семье и самая хорошенькая. Воскресные прогулки с того памятного дня приобрели новый, жгучий смысл: прячась от Фелицаты, сестры тайно шептались о них всю неделю.

Любаня, впрочем, больше помалкивала и грустно улыбалась, выслушивая признания Наталочки. Ни единым словом не обмолвилась она о туманных своих надеждах и о жертве, молчаливо положенной к ногам младшей сестры.

А Наталочку словно косым ветром подхватило — до того она стала капризной и переменчивой. Но в темном зале «Отрады», скованная застенчивостью, Наталочка смотрела на Тэвса укоряющей и тоскливо думала о том, что преграды, разделившие их, непреодолимы. Так шло время,— капризы Наталочки становились все заметней и причудливей.

В одну из суббот она рано отпустила своих учеников. Стая ребят с грохотом промчалась по деревянным ступеням крыльца. Вслед за ними мимо окон пробежала Наталочка.

Сестры застали ее дома. Взлохмаченная, вся розовая, она, склоняясь над гитарой, сердито щипала струны.

— Чего выдумываешь? — сдержанно сказала Фелицата, обвязывая фартуком, чтобы вынуть из печи обед.

— Любаня! — крикнула Наталочка и, подбежав к сестре, сказала: — Как ты думаешь, если я... если я ему...

Тут она опустила маленькую ладонь на гриф и так загудела струнами, что Любаня удивленно спросила:

— Что «если»?..

— Да нет, я просто с ума сошла! — пробормотала Наталочка и порывисто повесила гитару на гвоздь, предназначенный для полотенца.

Не заметив своей ошибки, она чмокнула Любаню прямо в нос и бросилась к столу, где уже дымилась миска с супом.

Обедали молча и быстро. Ели жаркое, когда Наталочка вдруг замерла с поднятой вилкой и посмотрела куда-то мимо

сестер. Кусок мяса упал с вилки в тарелку. Наталочка вздрогнула, бросила вилку и выбежала из-за стола. Вечером она исписала ворох бумаги. Фелицата, звякая вязальными спицами, неодобрительно на нее поглядывала. Наконец Наталочка заполнила узкий листок и спрятала его за корсаж.

Ночью, после жарких споров, Любья согласилась вручить письмо молодому Тэвсу.

IV

Средняя из сестер, смуглая, волосатая Любья — волосы у нее росли даже на щеках, — еще в школе получила прозвище «Мимишка», по имени старой, заслуженной обезьяны, которую сестры видели в заезжем цирке.

Любья была удивительно худая, ее плечи поднимались острыми углами, и платье висело так безжизненно, будто покрывало совершенную пустоту. Вечерами, собираясь спать, сестры любили говорить Любье:

— Ну, Мимишка, складывай свои косточки! — на что Любья сердилась и отвечала невнятным ворчанием.

В школе Любья шла первой. Восполняя скудные способности фанатическим усердием, она просиживала ночи над уроками и несла свое звание первой ученицы как мученический венец. Может быть, поэтому большие зеленые глаза ее казались всегда утомленными и пустыми.

Неистощимое усердие свое Любья перенесла и на работу, когда стала учительницей в деревне Сухая Речка. Через ее руки прошла не одна сотня буйных ребят, твердо обученных грамоте и четырем правилам арифметики. Работа давала ей спокойствие и сознание того, что она честно крутит неповоротливое колесо жизни.

Только однажды, ранней весной, Любья вышла в сад, сорвала клейкую почку тополя, пахнущую горьким медом, и вдруг подумала, что ей уже исполнилось двадцать пять. Двадцать пять лет жизни прошли, не повторяясь и не вернутся. Любья прибежала в спальню Фелицаты и воровато нагнулась к зеркалу. Бледное, волосатое, удивленное лицо глянуло на нее. Она попробовала поджать нижнюю губу и болезненно сморщилась.

— Не надо! Не надо! — повторяла она, подбирая пальцами крупные слезы.

К обеду в этот день Любья не вышла, стыдясь распухших глаз. Непонятный припадок посеял было в ней смутную тоску и недоверие к жизни, но жестоким усилием воли она вставила

себя в предназначенные рамки. И снова окунулась в глухое спокойствие, нарушенное лишь через два года нелепыми, а главное, несбыточными мечтаниями, о которых никогда не узнали ни сестры, ни сам Генрих Тэвс.

Прогулки в город, коротенькие путешествия по песчаным буурунам, когда степь молчит и, кажется, слышно, как ползут и дышат пески,— эти прогулки оставались единственным разнообразием в жизни Любани.

И еще она любила загадочную темноту длинного зала «Отрады». Никак не могла, не в силах была истребить странную привязанность к этому сараеобразному помещению, где вдруг оживает немое полотно и над примолкшими зрителями начинает широко звучать музыка большеголового Тэвса.

Вот и на этот раз, поднимаясь по лестнице «Отрады», Любана ощущала слабое замирание сердца. Она сунула руки под полу пальто, и в ее пальцах тотчас же хрустнуло Наталочкино письмо.

Тэвс уже сидел у рояля, исподлобья рассматривая толпу. Продребезжал первый звонок. Наталочка обеими руками подтолкнула Любаню:

— Иди!

Любана выбралась из рядов и пошла к экрану. Пол был покатым, и ей казалось, что с каждым шагом она падает в пропасть. Крышка рояля, отражающая желтые пятна электролампы, блеснула ей навстречу. Тэвс смотрел на нее удивленно.

— Письмо... вам...— еле выговорила она, с ужасом думая о том, как ярк здесь свет и как безобразна ее толстая губа.

Тэвс принял конверт, глянул на адрес и поднял голову, чтобы о чем-то спросить.

Но Любана уже отошла, — ссутулившись, она прошагала к сестре. Наталочка, шумно дыша, коротким кивком показала на Тэвса, который низко нагнулся, читая письмо. Любана усе-лась и искоса глянула на сестру. Острая жалость к себе, к своей некрасивости и одиночеству снова пронзила ее. Но она уже знала: не позволит она, не допустит, чтобы в жизнь ее вторглось разрушительное потрясение.

V

В следующее воскресенье Тэвс подошел к Любана и осторожно всунул ей в руку толстый конверт. В ту же минуту погас свет. Люба протискалась на свое место и молча положила письмо на колени Наталочке.

Картина уже началась: молодой человек во фраке натягивал перчатки и улыбался нарядной красавице, стоящей на балконе.

Сзади сухо трещал аппарат, музыки все не было. Потом прозвучал аккорд, низкий и задумчивый, как колокол, а за ним последовала медленная, нежная мелодия, на экране же летел под откос автомобиль, мелькали чьи-то искаженные лица — Любания поняла, что Тэвс играет, не глядя на экран.

Наталочка вскочила и стала энергично протискиваться сквозь плотные ряды, наступая на чьи-то ноги и молча выслушивая ругательства. Любания тоже поднялась и ощупью прошла за Наталочкой.

В пустынном фойе, около дремавшего буфетчика, сестры вскрыли конверт.

«Милая девушка! — писал Тэвс тонким, словно бы женственным почерком. — Меня глубоко взволновало ваше письмо. Надо же было вам прислать его именно теперь! Я играю в «Отраде» каждый день, меня слушают тысячи людей, а когда мой аккомпанемент запаздывает, толпа начинает кричать: «Музыка, эй!» Но я одинок и не причисляю себя к жителям этого городка. Наша семья представляется мне островком на безлюдной реке. Меня ждет лодка, я скоро отчалю и отправлюсь в настоящий город, к настоящим людям.

Я угрюм и непростительно неловок, но когда мои пальцы касаются клавишей, вдруг остаюсь один во всем мире, и в то же время меня окружают все голоса, все вздохи, весь смех мира. В нашей семье это называют талантом. Мои родственники играют на свадьбах и на пьяных вечеринках, чтобы скопить нужное количество денег для моей поездки в Москву, в консерваторию.

И вот сегодня я в последний раз забавляю посетителей «Отрады»: деньги заработаны, не далее чем через неделю я буду в Москве. Еду я счастливый, полный желаний и сил, и все-таки... Мне кажется, я что-то бесповоротно потерял. Ну почему вы не прислали мне письмо раньше, весной? Счастье не надо измерять годами. Оно цветет недолго, может быть, день, может быть, мгновение. Мы могли бы провести счастливое лето, может быть, самое счастливое в нашей жизни. Прощайте, моя милая Газель — Быстрые ножки, я низко склоняю голову перед вами и вашим чувством. А затем стискиваю зубы и говорю себе: ни слова больше, ты должен быть подчинен одной цели.

Генрих Тэвс.

...Сестры вернулись к тетке Хлое гораздо ранее обычного. Наталочка вся как бы онемела, летнее легкое пальто она сбросила странными механическими движениями.

— Чего это... ссс... рано как? — просипела тетка Хлоя.

— Тетя! — неожиданно вскрикнула Наталочка. — Синематограф сгорел!

— Ой-ё? — тонко откликнулся Трофимыч, свешивая с полатей свою апостольскую голову.

Домой, в Сухую Речку, сестры шли неторопливо и молча. Со степи дул холодный ветер, по дороге завивались мутные вихри, пригоршнями швыряя в лицо колючий песок.

У самого села сестры свернули на зады и прошли бахчами. Бахчи были уже обобраны, и вялые, спутанные плети лежали на земле, — они тревожно хрустели под порывами ветра. Кое-где темнели плоды, сморщенные, убитые холодами. Это была завязь, родившаяся слишком поздно.

В домике учительниц в запечатанные по-зимнему окна заглядывала желтая, немая улица. Фелицата нагромоздила в кухне груды тыкв. Наталочка споткнулась об одну из них, и тыква, твердая, как камень, с глухим стуком откатилась в угол.

VI

Зимой сухореченский дол густо заносит снега, а в лютую метель над сугробами торчат только трубы. Село погружается в ледяное спокойствие. Обоз ли скрипит по промерзшей улице, или бабы звенят ведерками у колодца — звук доносится тупой и короткий, как из подземелья.

А в избе пляши, бей в заслонку, вопи дурным голосом — звук разобьется о стены, в окно же будут по-прежнему наваливаться белые зернистые сугробы.

Под Новый год сестры нарядились в голубые бумазейные платья и кликнули в гости бабу Барсучиху, говорунью и чудесницу. После длительного чаепития Барсучиха подобрала цветастую юбку и плотно уселась на пол, у горящей печки.

— Садитесь, барышни, посумерничаем! — сказала она и, домовито поправив дрова в печке, повела рассказ о том, как в старину гадали девки о суженом-ряженом.

В ночь уходит девка одна-одинехонька на зады, в баньку, ставит зеркало перед собой, другое — позади и зажигает две свечи. Те свечи отражаются в зеркалах чудесно, будто ложится там длинная, огненная дорога, девка же сидит нарядная, волосы распущены, смотрит в зеркало и не мигает. Вот проплет петухи в самую полночь, она и зачнет шептать:

— Суженой-ряженой, лети ко мне из мрака, жду я тебя, убиваюся, в ночь, в полночь, в час и минуту... Земля, замок,

ключ, вода...— И ежели судьба в том году девке взамуж ийти, явится к ней по огненной дороге нареченный муж и обнимет сзади тихонько. А оглядываться нельзя — задушит твоими же волосами.

— Суженой-ряженой! — сказала вдруг Наталочка таким необычным голосом, что все оглянулись.— Суженой-ряженой... жду я тебя, убиваюся... в ночь, в полночь...— Голос Наталочки напряженно зазвенел и оборвался, упав головой в колени Фелицаты, она задержалась от рыданий.

Любания поторопилась выпроводить Барсучиху. Баба обвязалась жесткой шалью, взялась за скобу, но неожиданно обернулась и приблизилась к Любание сухонькое, мудрое лицо.

— Кровь у ней тоскует — замуж надо. По-нашему, попросту тебе скажу. А то перекипит она и делается дурная, помани мое слово.

— Однолюбы мы,— тихо сказала Любания.— Однолюбы, векоуши.

— И-и, Любовь Степановна, у нас так и не спрашивают. Меня за Акима отдали, я и не знала его, не видала. А теперь вот уж пятеро детей, два парня на возрасте.

Любания подняла на нее светлые, в кровавых прожилках, холодные глаза.

— Может, так-то и лучше.

Поняв, что Любания сдерживает слезы, Барсучиха вздохнула:

— Ну, бог с вами!

И вышла, крепко притворив дверь.

...Миновала зима, в саду учительниц пышно расцвела сирень и зашумели тополя. Фелицата, угрюмо поджав губы, ощущала теплые стволы деревьев, перевязывала клейкие раны, обламывала сухие сучья. Потом сестры взялись за лопаты, и окопали деревья, бережно обходя черные сплетения корней. Три склоненные спины были словно бы каменные. Казалось, у сестер не хватало сил поднять голову к молодым гроздьям сирени, к солнцу.

Глубокое спокойствие в домике учительниц, однако, скоро было нарушено.

Фелицата помнит страшный день, начавшийся обычно, как и тысячи остальных. Удивительно тихий, синий, благоуханный, он неожиданно раскололся надвое, и от второй половины его потянулась вереница сумасшедших, растрепанных годов...

Фелицата сидела на крыльце с каким-то шитьем, когда из-за угла вывернулась коляска земского начальника. Знакомый сестрам щупленький, рыжеусый Павел Андреевич казался озабоченным и даже торжественным. Увидев Фелицату, он при-

ложил руку к козырьку и вместо обычной приветственной улыбки как-то рассеянно пошевелил усами.

Вскоре к Фелицате прибежала простоволосая Барсучиха.

— Война, барышня! Земский сказал,— всплеснув руками, пропела она.— Двух сынов угоняют, беда!

— Опять война?! — горестно вскинулась Фелицата.

Два дня и две ночи после того Сухая Речка была оглушаема несуразными песнями новобранцев и бабими пронзительными воплями. Барсучиха то и дело забегала к учительницам и, тонко всхлипывая, припадала к окну заплаканным лицом.

— Мой это... разливается.

С улицы несся тонкий, словно бы мальчишеский тенорок:

Пойду с горя в чисто поле,
На текучий ручеек...

Барсучиха утиралась широким подолом и горестно говорила:
— Мальчонка ведь еще... в пору за огурцами лазать!

А «мальчонка» уже заводил новую песню:

Распрощай, наша деревня,
Родимая сторона..

К нему присоединился второй голос — рокочущий хрипловатый бас:

Прощай, лавочки-трахтеры,
Распитейные дома!

И снова взлетел, залился звонкий тенорок:

Прощай, лапушки-Сашурки,
Нам теперя не до вас...

Провожали новобранцев всем селом — толпа шла в облаке пыли, стонала, пела, ругалась. За околицей обоз остановился, люди плотно его обступили, раздались последние, беспамятные поцелуи, и тонкая цепочка подвод медленно поползла в гору.

Фелицата шла домой, переполненная непреодолимой тревогой. Но когда перешагнула порог, тишина маленьких комнат, неуловимый запах насиженного жилья и привычная непреложность одинокой их жизни вернули ей спокойствие.

— Слава богу, нам некого провожать! — сказала она и глубоко вздохнула.

VII

Второй и третий набор новобранцев прошли смирнее, к ним успели уже попривыкнуть. В деревне заметно прибавилось былок. В зимние глухие вечера бабы собирались на посиделки,

и под ровный шум прялок одна какая-нибудь запевала о муже, о холодных окопах, о простреленной головушке. Горькие слова звенели в затихшей избе, и колотилось одно большое, истлевшее сердце.

В мутной воде рыбицу вылавливали,
На крутой берег рыбицу выбрасывали.

Прялки останавливались, бабы как-то сразу сникали и мрачнели:

Хорошо ли тебе, рыбица, без свежей без воды?
Хорошо ли тебе, молодцу, без милой без жены?

...Но вот стаяли снега, потеплело на улице, и народ, рассыпавшись по бахчам, повеселел. Над деревней взвились старые, разудалые запевы,— загуляли, запели и молодые солдатки.

В том году выдался невиданный урожай ягод. По улицам Сухой Речки спозаранку проезжали возы, переполненные краснобокой, хрупкой земляникой, и бабий голос тоненько покрикивал:

— Ягоды! Ягоды! Ну, кому ягоды!

Сестры решили запастись вареньем.

В комнатах запахло горелым сахаром. Фелицата Степановна, вспушшая от жара, роняла янтарную капельку сладкого сиропа на нозь и хитро улыбалась. Может быть, думала о том, как в долгий зимний вечер позовет гостей, накроет стол и скажет, указывая на вазочки с вареньем:

— Вам какого? Земляничного? Знаете, оно у меня чуточку переварилось. Вот малиновое, кажется, получше.

А Наталочка целыми днями валялась в саду на стареньком красном одеяльце, судорожно позевывала и объедалась пенками. Но однажды собралась в город. Это случилось уже осенью, когда Фелицата переварила все варенья, а село обобрало бахчи.

Издали, с горы, город предстал перед Наталочкой, как и прежде, заманчивый, далекий, окутанный синим туманом. Но когда она спустилась в улицу, сердце у нее заныло: ветер метался в голых вершинах тополей и по-кладбищенски гнал по мостовой сухие, легкие листья. Люди бежали мимо, хмурые и отчужденные. Большая улица — улица внезапных встреч и веселья — показала ей чужой и даже враждебной. Тихо прошла она мимо «Отрады». Там теперь помещалась казарма, и Наталочка увидела у дверей часового — скуластого солдата, одетого в заносенную шинель. Он равнодушно посмотрел на нее и отвернулся.

Домой она пришла молчаливая, погруженная в невеселые мысли.

— Ты что это? — спросила Фелицата с той немногословностью, какая устанавливается между близкими людьми, привыкшими понимать друг друга с первого взгляда.

— У нас тихо... — ответила Наталочка, медленно развязывая свой розовый шарф. — А там война... солдаты. Тревожно...

— Бог с ними, — проворчала Фелицата.

...И снова навалилась зима, завыл ледяной ветер, замела пурга. Наталочка перенесла красное одеяльце из сада на старенький диванчик и стала валяться на нем целыми днями, вздохмаченная, одетая в байковый неопрятный халат.

— Ната, причешишь! — осторожно напоминала сестра.

— Для кого? — вздергивала брови Наталочка и, ткнув несколько раз гребенкой в волосы, опять заваливалась на диван, равнодушная ко всем и ко всему. Движения ее сделались угловатыми и медленными, теперь она отдаленно напоминала Любаню.

Посреди зимы ей вдруг понадобился холст, самый что ни на есть тонкий; она нарисовала на нем крупные цветы, похожие на ромашку, затем набрала пучок шелков призрачных, бледных оттенков и принялась вышивать.

Рисунок был настолько огромен, а первые стежки, положенные на холст, настолько малы, что работа казалась нарочито выдуманной и невыполнимой. Однако Наталочка вышивала с необыкновенным усердием — придя из класса, она торопливо влезала в свой халат и сидела над пяльцами до глубокой ночи. Сестры украдкой подкладывали под пяльцы новые, еще не испробованного цвета мотки шелка и молчали.

А в гости приходили к сестрам только попадья Ефросинья Ивановна, желтая и тонкая, как восковая свеча, да Барсучиха, осунувшаяся и притихшая. Фелицата суетливо угощала их вареньем. Попадья восхищенно верещала и слизывала варенье быстро, как кошка молоко. Барсучиха поминутно вздыхала, варенья брала одну-единственную ложечку, скусывала ее помаленьку и все приговаривала:

— Благодарствуем. Мاستерица вы, Фелицата Степановна, варенья варить.

Но однажды попадья распробовала полную ложечку и скривила тонкие губы:

— Фелицатушка, варенье-то скисается...

Любания подняла на нее большие свои глаза, потом перевела взор на Фелицату. Та, почувствовав себя уязвленной в самое сердце, встревоженно вскинулась:

— Да что вы, матушка, быть не может! Будь оно переварено или пеночки не все сняты, а то ведь я строго следила.

Едва дождавшись, когда уйдут гости, Фелицата зажгла све-

чу и ринулась в чулан. Трясущимися руками распечатала она все банки и сразу же захохала: белый налет, пузырьки, кислый запах, попадья была права: скисло варенье.

Только через неделю выпала оказия в город: ехал с дровами Аким Барсуков, Фелицата строго-настрого приказала ему купить сахарного песка,— она решила переварить варенье.

Аким вернулся в тот же вечер. Войдя в кухню учительниц, он снял шапку, обеими руками обмял бороду и стал выбирать из нее ледышки.

— А сахар где? — спросила Фелицата.

— Так что нету сахару, Фелицата Степановна! — ответил Аким.— Шум в городе большой, все лавки закрытые, пришлось мне дровишки обратно везти.— Он шагнул к Фелицате и прибивил шепотом: — Правда аль нет, сказывают, царя будто смачнули...

Фелицата отшатнулась.

— Как? Не может быть! — хрипло крикнула она, ища дрожавшей рукой стол, чтобы опереться.

Аким переступил с ноги на ногу и, глядя в сторону, сказал:

— А я это спрашиваю: как теперь война-то? Война, говорят, так и будет война. Вот и пойми тут. У меня вон двоих сынов угнали, и, значит...

— Значит, нет сахару? — растерянно пролепетала Фелицата.

— Пропадать теперь вашим вареньям! — не то сочувственно, не то насмешливо откликнулся Аким.

VIII

Лето прошло жаркое, беспокойное, томительное. За горой в городе кипели митинги, по широким же улицам Сухой Речки чуть ли не каждый день шли в одиночку солдаты, покинувшие фронт.

Любана дрожала при одной мысли о том, что грубая, бесповоротная сила сомнет строгие линии ее жизни, ее с таким трудом сложившуюся систему. Каждую ночь, ложась спать, она мелко крестилась и шептала (по наивной детской привычке, теперь вдруг возвратившейся):

— Господи! Сделай так, чтобы ничего не случилось!

Школу пришлось наполовину заколотить, дрова были на исходе, а о пополнении запаса просить некого. Наталочкиных малышей распустили по домам. Фелицата стала часто прихварывать, и Любана, сурово нахмурившись, уходила заниматься одна с двумя группами.

Как-то на уроке арифметики в группе Фелицаты Любана решила заняться таблицей умножения.

— Девятью девять? — громко и отчетливо, как и положено учительнице, спросила она.

На задней парте поднялся круглощекий мальчуган.

— Сказывают, в городе из пушек стреляли, правда аль нет? — требовательно проговорил он и щелкнул крышкой парты. — Я вышел лошадям корму задать, слышу — гром. А какой гром по осени? — с мужицкой, взрослой рассудительностью, смешной в таком малыше, добавил он.

— Я тоже слышал! Я тоже! — подхватили его соседи.

— Батя сказывал, бои идут...

Любана, поначалу растерявшаяся, быстро пришла в себя.

— Дети! — Она подняла руку, и класс привычно смолк. — Девятью девять? — Она ткнула пальцем в ученика, сидевшего на задней парте.

Тот встал и затоптался на месте.

— Губá... — тихо донеслось откуда-то сбоку.

— Губá... Губá... — полетело от порога.

Любана поняла: это ее новое прозвище.

— Дети... — заметно побледнев, повторила она. — Дети, у нас здесь не собрание. В школе учат грамоте, а не по-ли-ти-ке...

Окончив урок раньше положенного часа, она пришла домой и, сама удивляясь своей жаркой здобности, выговорила Фелицате:

— Какой у тебя распущенный класс!

У Фелицаты в это время сидела Барсучиха, она пришла занять дрожжей и разболталась.

— Мой-то Акимушка председателем теперь.

— Гляди, Марья, маету наживешь, — осторожно сказала Фелицата.

— Кто знает! — Барсучиха увела глаза в сторону. — Может, маета, а может, и не маета...

Вечером в домик учительниц зашел и сам Аким.

— Ну, здравствуйте! — сказал он сухо и вроде даже неприязненно.

— Здравствуйте, — отозвалась за всех Фелицата. — Может, чайку с нами?

— На чайке благодарствуем! — ответил Аким и, чуть помолчав, вдруг выговорил: — Так что Наталью Степановну общество постановило в секретари сельского Совета, как она сейчас свободная, а человек, конечно, шибко грамотный.

Наталочка выпрямилась за своими пальцами и глянула на Акима. Тот смело перехватил ее разгневанный взгляд и стал объяснять:

— Мы сход сейчас собираем, так пойдем, Наталья Степановна, постановление нам запишешь.

— Но я не хочу! — высоким, рвущимся голосом крикнула Наталочка.

Аким повернулся к Любани:

— А вы ключик от школы позвольте.

— Нет, я не пойду! — раскипятилась Наталочка. — Мне надо вышивать!

— До сих пор школа под собрания не предоставлялась, вы ее засорите, — сдержанно проговорила Любани.

— Сход ноне большой, нельзя. Уж не охолодим. Ключик позвольте!

Приняв ключи от сердитой Любани, Аким подошел к Наталочкиным рукодельям и тронул пальцем холст.

— А на что эти цветки?

Наталочка презрительно фыркнула и отвернулась. Тогда Аким нахлобучил шапку и сказал каким-то чужим голосом, густым и требовательным:

— Ну, Наталья Степановна, хватит баловать. Общество велит, не я...

— Не пойду.

Аким опустил голову, подумал, потом выпрямился и сердито сверкнул глазами из-под шапки.

— Не идешь, так арестовать могу. Власть мне на это дадена. «Вот оно!» — подумала Любани и больно закусил губу.

Не более чем через минуту Аким и Наталочка вышли из домика; увязая в глубоком снегу, они направились к школе.

— Ты, Наталья Степановна, сестрице скажи, Любани-то, чтобы в школе ребятам про власть рассказала. Это ихнее дело.

— Ладно, — как эхо откликнулась Наталочка.

— А ты тоже не сердчай, — уже мирно добавил Аким. — Мы не какие-нибудь. Жалованье тебе положим.

Наталочка ничего не ответила и обернулась на родной домик: он стоял маленький, понурый, и в окнах его то вспыхивал, то погасал свет.

IX

...В 1931 году молодые колхозники Сухой Речки написали бумагу о церкви. Всю весну ходили из избы в избы, и бумага покрылась корявыми подписями. Летом церковь закрыли — два года подряд она служила глубинным складом, была до хоров забита зерном, и вот теперь сельское общество постановило сломать ее, а высокий фундамент и отличные сосновые бревна употребить на постройку школы-десятилетки.

Верхние два «этажа» колокольни решено было подпилить и повалить на землю. Пятеро отчаянных сухореченских парней два дня лепились по бокам колокольни, качающиеся их тела казались сплюснутыми, пилы же в их руках поблескивали, как игрушечные. В вышине кружились и зычно орали грачи, жирные, зевластые птицы, которые свили гнезда в колокольне и привыкли подбирать у церкви хлебные зерна.

С утра два катерпиллера, или две «Катьки», как их здесь называли, подбежали к церкви, взобрались, пронзительно ца-рапая цепью, на каменные плиты, проросшие травой, и, выключив моторы, остановились один за другим.

— Бом-бом валить будут! — восторженно крикнул рыжий мальчишка и, вздернув штаны, подскочил к тракторам.

Передний тракторист неторопливо вылез и вытянул из кабины тяжелую, тускло поблескивающую связку троса.

— Сторони-ись! — солидно крикнул он на мальчишку и ки-нул трос.

Все было готово. Председатель колхоза Егор Барсуков на-двинул картуз козырьком на глаза от солнца, озабоченно взгля-нул на змеей извивающийся трос и на молодого тракториста. Потом покосился на колокольню.

Все молодые и крепкие сухореченцы обирали тыквы на бахчах, поэтому к церкви степенно брели только темные ста-рушки да густо подваливали крикливые кучки ребятишек.

Егор махнул рукой трактористу.

— Начинай!

Как раз в этот момент из-за угла показалась черная маши-на. Глубоко бороздя песок и исходя воем, она въехала на пло-щадь. Из машины вышел невысокий человек в защитной фор-ме, хлопнув дверцей; он направился к Барсукову, слегка кри-воногий, похожий на кавалериста, легкий, скуластый и жел-толицый.

— Я инструктор обкома... — сказал он и протянул обе ру-ки. — Здравствуй, председатель!

Барсуков несмело взял одну руку, глядя в лицо инструктору, и вдруг коротко вскрикнул:

— Тихон!

Тут оба заторопились и стали забрасывать друг друга не-связными вопросами.

Они вместе учились здесь, в Сухой Речке. Отец Егора, Аким Барсуков, первый председатель сельсовета, умер от тифа. Ти-хона и Егора тогда не было в деревне: Тихон метался по южным фронтам войны, Егор — по восточным. Лет десять они не виде-

лись и вот опять встретились на горячем песке их детства, в Сухой Речке.

— А мы тут церковь валим,— конфузливо улыбаясь, сказал Егор.— Со школой затеялись.

— Слышал. Давай делай,— отозвался Тихон.— Я мешать не буду. Потом поговорим.

Он оглянулся на толпу. Сколько белоголовых ребятишек — и ни одного из них он не знал. А впереди, у самой паперти, стояла немолодая, сухощавая женщина, по-монашески подвязанная платком.

«Ее-то я, кажется, знаю»,— подумал Тихон, отводя глаза от чернобрового замкнутого лица.

Рассеянно посмотрев на старика, стоявшего отдельно от всех, он обратился к дородной женщине и требовательно спросил:

— Почему не на бахчах?

— Я инвалидка,— ответила толстуха, с непонятной гордостью выставляя вперед вывернутую ступню в шерстяном чулке.

На колокольню успели уже накинуть петлю троса, толпу оттеснили, тракторы гуськом пошли по опустевшей площади. Рокотание их усилилось, трос поднялся с земли, начал натягиваться и взблескивать на солнце. Вот он натянулся и застыл тонкой стремительной чертой от ствола колокольни до земли. Утробно рыча и фыркая, тракторы несколько мгновений скреблись на месте, потом начали по малой доле забирать пространство. Песок острыми брызгами летел из-под машин, сзади оставалась глубокая, развороченная колея.

Стройный шпиль колокольни дрогнул.

— Падает! Падает! — оглушительно закричали ребятишки.

— Цыть, вы! — прикрикнула на них инвалидка и грозно топнула своей искривленной ногой.

Бородатый старик перекрестился.

Тракторы выли и тряслись от напряжения. Передний тракторист пригнулся к рулю, как будто его машина должна была прыгнуть в толпу. Колокольня медленно пригибалась, теперь все видели, что церковь слегка клонит голову.

Женщина в платке покачала головой, худое, строгое лицо ее было залито слезами.

Инструктор обкома невольно шагнул вперед и громко спросил:

— Почему горюешь?

— Храм-то молодой,— так же громко и доверчиво ответила женщина.— Я венчалась в нем... жалко! А так я, товарищ, не молитвенная.

— А-а...— протянул Тихон и отвернулся.

Нет, он не знал этой чернобровой женщины. А церковь действительно была молодая: еще трехлетним мальчишкой Тихон лазал по могучим ароматным бревнам ее сруба...

Звук, подобный выстрелу, прокатился над толпой. Колокольня закурилась похжей на дым пылью, мелкая дощечка оторвалась от карниза и, кувыркаясь, полетела вниз. Тракторы разъяренно взревели и смолкли, ослабевший трос провис.

— Не дается! — возопила инвалидка.— Вот он, наш Козьма-Демьяна!

— Здорова! — деловито сказал старик.— Будто стержень у нее железный.

Егор Барсуков вытер рукавом потное лицо и сердито сказал:

— Сейчас свалим: видишь, уж и хребтина треснула...

Дружный грохот моторов заглушил его слова. Тракторы бойко пошли на толпу. И как только трос окреп, колокольня затрещала, накренилась и, прочертив шпилем по небу, повалилась на землю...

Она летела вкось, головою купола вниз, как снаряд. Егор только успел заметить, что колокольня оторвалась ниже шва распилки и что края у нее рваные. Он невольно попятился и закрыл глаза. В тот же момент колокольня всей тяжестью грохнулась оземь. Почва дрогнула под ногами у людей, туча песку метнулась в воздух. Гортанные крики грачей, вопли баб и ребятишек слились в один странный, звенящий и высокий хор.

Когда Тихон протер глаза, он увидел, что стоит один на просторной площади. Кричащая толпа жадно облепила обрубок колокольни. На месте отрыва торчали курившиеся тонкой, голубоватой древесинной пылью острые концы бревен.

Х

Тихон облегченно вздохнул, и взгляд его упал на стоящее неподалеку длинное саманное здание с тесовой крышей. Он шагнул вперед и остановился улыбаясь: вот она, школа, где он учился!.. А там, налево,— низенький домик, затененный садом до затейливо резного конька крыши. Домик учительниц!

Из очень далекого угла памяти, словно из небытия, возникли полустертые лица сестер-учительниц. Большеглазая, беспокойная младшая барышня в розовом газовом шарфике. Печальная, волосатая средняя барышня. И толстая хлопотунья Фелицата, его учительница.

Тихон оглянулся, спросить было некого. Тогда он зашагал к домику учительниц. Цепь глубоких осыпающихся следов оставалась за ним на песке. Он шел, придерживая полевую сумку, и остановился у опрятного крылечка. Белые занавески в окнах были недвижны, высоко над крышей лепетали тополя.

Он поднялся на крыльцо, вытер ноги о подстилку, легонько тронул двери «парадного». Они растворились бесшумно, буд-то сами собой. За ними была терраса и там другая дверь, обитая рыжей дерюгой.

Тихон вошел в кухоньку; его тотчас же окружили запахи, знакомые с детства,— влажный тучный аромат овощей, сваленных в подполье, и тленный запах старой, громоздкой, пыльной мебели...

— Любаня, ты? — услышал он низковатый, задыхающийся голос и растерянно ответил:

— Нет. Это я!

С непреодолимой робостью раздвинул он выцветшую портьерку — в низком кресле, лицом к окну, сидела старая женщина, она с трудом повернула к вошедшему крупное отечное лицо и вопросительно пожевала бледными губами.

— Фелицата Степановна! — вскрикнул Тихон и, откинув тяжелую сумку за спину, протянул смуглую руку.

— Кто будешь?

Глуховатый голос женщины как бы с трудом вырывался из вялого, разбухшего тела.

«Плоха стала... а ведь по годам-то не такая уж старуха!» — с удивлением подумал Тихон.

— Ученик ваш,— сказал он вслух.— Олдаркинский мордвиненок... Помните?

— Тиша! — воскликнула Фелицата, медленно протягивая руку.

«Водянка, вот оно что!» — догадался он, пожимая ее горячую, вязкую ладонь.

Заплывшие глаза Фелицаты вдруг стали пронзительными и смятенными: она неотрывно смотрела на бывшего своего ученика. Тихон, ширококостый, нескладный, тоже, пожалуй, постарел немного: на висках у него заметно пробивалась седина, скулы болезненно пожелтели, а зрачки глаз под высокой, изломанной бровью сделались колючими.

— Вы так и живете здесь с тех пор, Фелицата Степановна? — осторожно спросил он.

— Так и живу.

Она медленно перевела взгляд на окна: там, как и в годы ее молодости, сквозь листву сада видна была улица, рыжая от песка.

— Так и живу,— повторила она.— Скоро вот на костылях буду двигаться, а потом с двумя стульями: одним стулом — топ да другим — хлоп. Как покойная тетка Федора Ивановна. Водянка... она у нас в родне. Так-то вот. Иной раз сажу, думаю: пески, пески, ветра. Господи, думаю, да за что же ты мне терпение такое дал?

Тихон, присевший было на кончик стула, вдруг вскочил и отошел к окну.

«Эка легкий какой! Мальчишкой, помнится, тоже вертляв был»,— подумала Фелицата, утомленно прикрывая веки.

А Тихон стоял и пристально разглядывал куст сирени, разросшийся у самого окна: несколько темных, жирных листьев в форме удлинённого сердца распластались на стекле. Тихона почти до дрожи пронизала внезапная горькая жалость к старой учительнице. И не только жалость, а еще и неясная обида, и словно бы чувство собственной своей виноватости перед нею. Он молчал, стараясь овладеть собой, не высказать волнения перед больным человеком. И когда наконец повернулся, то спросил, не подымая головы:

— А сестры ваши... они тоже здесь?

— Здесь. Где же им быть.

Лицо у Фелицаты задрожало.

— Бедные мои девочки! — глухо, чуть ли не со стоном добавила она.

Потом показала Тихону на стул. Тот послушно уселся, заставил себя улыбнуться.

— Я все помню: как вы домик свой строили. Долго без крыши жили, кровельного железа не могли достать...

— Да-да,— кивнула Фелицата, и в глазах ее блеснуло что-то вроде ответной улыбки.

— А садик сразу же посадили и все в нем копались...

— Березки так и не прижились,— перебила его Фелицата уже с некоторым оживлением.

— Зато сирень у вас замечательная и тополя.

— Да, вымахали тополя! — согласилась Фелицата.— Все половицы в доме устилают, пух с них летит. Будто перину выбивают.

Она замолчала. Тихон тоже примолк, вспоминая, с каким трудом лепили учительницы вот этот домик. Только младшая сестра по малолетству не участвовала в его постройке, а старшие столько сил убили на эти стены, на рамы да на потолки. А из остатков теса сколотили им невысокий забор, и они усердно стали копать в земле. Садик набрал силу, когда Фелицата уже заметно сутулилась.

А теперь и вовсе состарилась, сидит вон и шепчет что-то.

Преодолевая замешательство, Тихон заговорил о своих бывших одноклассниках.

— Ваня Никифоров — председатель горсовета в нашем городе, — сообщил он Фелицате. — Егор Барсуков — это вы знаете — в колхозе у вас председателем, вроде по наследству от отца. А вот мой тезка Тихон Аралов — в Москве, кончает Промышленную академию, того и гляди в директора завода выйдет. Козырев Федя — летчик на Дальнем Востоке — вы, конечно, его помните: книжки про машины читал, изобретал, к салазкам руль приделал... Ну, а Володя Бегунок, мой друг закадычный, под Перекопом голову сложил... Посмертно орденом награжден. Был он, Володя, комиссаром полка.

— Жалко-то как, — прошептала Фелицата и с заметным усилием повернула голову.

Тихон тоже обернулся к двери. На террасе, а потом в сенцах дробно процокали каблучки, портьерка шевельнулась, и в комнату вошла полуседая женщина с огромными запавшими глазами. Внимательно выслушав объяснение сестры, она приблизилась к Тихону, вставшему ей навстречу, и уже с некоторой стесненностью пожала ему руку.

— А где же... — Тихон остановился, сдвинул брови и смущенно улыбнулся.

— Наталья Степановна? Она на переподготовке в городе, — объяснила Любания, угадывая, что он забыл имя младшей сестры. — Ведь у нас десятилетка будет, вот и готовимся. Я тоже заочница.

— Свалили? — строго прервала ее Фелицата.

— Да, — ответила Любания и покосилась на Тихона.

Он понял, что старуха спрашивала о церкви.

— Выходит, я ее пережила, — сипло проговорила Фелицата и опять словно бы погрузилась в дрему.

Любания взяла книжку на этажерке, раскрыла ее, аккуратно вынула закладку и еще раз глянула на Тихона светлыми и будто пустыми глазами.

— А мы тут вспоминаем... — тихо сказала Фелицата, очнувшись от дремы, — ...всех вот его дружков-сверстников.

— А-а... — протянула Любания и склонилась над книжкой.

«Какая тишина у них... прямо как в могиле», — подумал Тихон. Его уже не жалость мучила — он не был беспредметно чувствительным человеком, — мысль о необходимейшем деле овладела им: должен он, обязательно должен что-то сделать для старой учительницы, и как можно скорее...

— Федя Козырев, летчик, телеграмму мне вчера прислал: едет в отпуск, — задумчиво проговорил он и вдруг словно за-

пнулся и так стремительно вскочил со стула, что полевая сумка стукнула его по боку.

— Вот я и привезу его к вам, Фелицата Степановна, можно?

Она не сразу ответила: не могла уразуметь, почему он весь засиял, помолодел, даже похож сделался на прежнего прыткого Тишку-мордвиненка.

— Конечно, можно, почему же,— сказала за сестру Любаня, но глаз от книги не подняла.

Нет, они еще не поняли Тихона, ни та, ни другая. Но Любовь-то Степановну едва ли можно расшевелить, она и впрямь мумия какая-то, — а вот Фелицата...

Весь сияя, он поспешно взял руку Фелицаты в свои жестковатые, сильные ладони.

— Мы встретимся, Фелицата Степановна,— с непонятной радостью заговорил он.— Не только с Федей встретимся. Я Ванюшку Никифорова разыщу и еще Аралова... Егорка Барсуков — этот вовсе здесь. Встретимся все... кого разыщем, ваши ученики. Спасибо вам скажем.

— Тиша! — грозно и неожиданно отчетливо воскликнула старуха.

Тихон опустил на скамеечку, что стояла возле ее ног.

— Не волнуйтесь, это будет так хорошо! Вот увидите! — сказал он, широко и samozабвенно улыбаясь.— А если всех собрать... всех, всех ваших учеников. Подумайте, какая огромная семья... Нет, Фелицата Степановна, такой труд надо самым счастливым почитать. Вы замечательную жизнь прожили...

— О господи...— Старуха закрыла лицо желтыми разбухшими руками.— Опомнись, Тиша!

— Пески, пески...— произнесла Любаня своим размеренным голосом.— Пески съели нашу жизнь.

Тихон стремительно обернулся. Любаня сидела в своем уголку, строго выпрямившись, седая прядь упала ей на глаза, теперь блестящие и вопрошающие.

— А мы обводним землю, уничтожим пески. Придет такое время! — негромко, но с каким-то яростным напором возразил Тихон и встал.— Чтобы ни один человек, ни одна душа больше в песках не потерялась!

XI

...Когда Фелицата открыла глаза, Тихона уже не было: за ним прибежал посыльный, и он исчез так же внезапно, как и появился. Словно во сне, Фелицата ощутила его крепкое руко-

пожатие. «Я не прощаюсь, я еще приду...» — уже в дверях поспешно сказал он.

Сестры долго сидели в полном молчании. Медленно опустились сумерки, затиш и помрачнел сад, растаяли на окнах багровые отблески заката. Потом в мутном свете исчез острый журавель ближнего колодца...

Любаниа выпрямилась на своем стуле, прислушиваясь к глубокому дыханию сестры. Она хотела спросить: «Спишь?» — но промолчала и задумалась.

«Мне ничего не надо...— шепнула она, стараясь пригасить острую тревогу и жалость к себе, какую поднял в ней Тихон.— Я работаю... работаю, как машина. Но ведь он об этом и говорил!— Она вздохнула и горестно понурилась:— Работа, счастье — он думает, это одно и то же? Счастье... Смешной человек!»

Любаниа закрыла глаза и представила себе Наталочку в маленьких ее сапожках и с каштановыми тускловатыми кудрями, которые она навивает на ночь. Вспомнила ее неуспокоенные, горящие глаза, предательскую складку у рта, всю блеклую, жалостную, порывистую фигурку вспомнила.

— Наталочка, сестренка...— внятно, со стоном произнесла Фелицата.

Любаниа испуганно бросилась к ней, увидела мелкую слезинку, застрявшую на дряблой щеке, и бесшумно опустилась возле кресла на потертый коврик. Потом осторожно положила голову на колени к сестре, и Фелицата провела ладонью по ее волосам.

— Неужели это правда? — сказала она, натужно управляясь со своим дыханием.— Тиша-то что сказал!

— Правда, — быстро и твердо ответила Любаниа, может быть, желая утешить сестру.

— Вот он Наталочке бы так сказал, — жалобно прошептала больная.

— И я тоже об этом подумала, — отозвалась Любаниа.

Они снова замолчали. В кухне сонно проверещал сверчок, скрипнула ставня...

Фелицата вдруг вспомнила, как много лет назад один из красногвардейских отрядов промчался по спелым сухореченским бахчам. Крупные арбузы разламывались и брызгали кровавым соком под копытами коней... Может быть, в этом отряде тоже скакали ее ученики?

Потом неожиданно вспомнила, как в прошлом году случайно забрела в церковь. Тленные, сыроватые запахи смешивались здесь с сытным ароматом хлеба. Пологая гора золотистых зерен возвышалась до облупленных перильцев хора, и худой

кареокий святой в голубых одеждах по грудь утонул в зерне. «Ведь стара уж, помирать скоро...» — подумала тогда Фелицата, удивляясь своему холодному, безжалостному любопытству.

Но вот теперь ее ученики свалили церковь. И будут строить новую школу. Новую, уже не саманную, а бревенчатую.

Она с трудом нашарила в темноте и взяла худую руку сестры.

— Подумай, Люба, они все придут ко мне... — В последних словах Любани расслышала уже сонные нотки. Фелицата засыпала внезапно, но сон ее бывал недолгим. — Они вернуться... — совсем невнятно пробормотала больная и задыхалась протяжно и хрипло.

— Да, да, — торопливо прошептала Любани, боясь пошевелиться и нарушить хрупкий покой сестры.

«Забудет, — недоверчиво подумала она о Тихоне. — Сейчас-то ему кажется, что действительно соберет он товарищей и юбилей этот сделает. Но ведь закружится в делах и позабудет. Или нескоро соберет — Феленька не успеет...»

Она подняла на сестру опечаленные глаза и опять опустила голову: Фелицату мог потревожить малейший шорох и даже просто беспокойный взгляд. Но больная спала нынче необычно крепко: разговор с Тихоном утомил ее.

Тогда мысли Любани вернулись к Наталочке.

Что же, в судьбе младшей сестры могло еще всякое случиться — Фелицата просто не все о ней знала: сестры, не стовариваясь, оберегали от лишних волнений свою Феленьку, которая была для них не только сестрою, но и матерью.

Фелицата никакого представления не имела о Генрихе Тэвсе и о том, что Наталочка еще раз встретилась с ним. Это прошлым летом случилось, во время переподготовки: обегая весь областной город в поисках нужного учебника, она неожиданно-негаданно в одном из книжных магазинов наткнулась на постаревшего и мрачного Генриха Тэвса. Он, этот музыкант и высокомерный мечтатель, который некогда казался ей Бетховеном, смиренно стоял за прилавком, и лицо его было как бы потухшее, болезненно-желтое.

Наталочка поначалу растерялась и даже не поверила себе. А Тэвс сразу узнал ее и на минуту вышел из-за прилавка. Медленно подбирая слова и глядя исподлобья своими темными припухшими глазами, он сказал будто в дополнение к своему давнему выпренному письму:

— Ну вот... лодка моя не доплыла до того берега, я вернулся к дядьям. Они сделались стары, теперь я должен их кормить, а на куске хлеба не написано, где именно он заработан.

И еще прибавил, что музыка есть дьявольское искусство, в музыке множество званых, да мало избранных. И что среди избранных ему не нашлось места.

Наталочке понадобилось некоторое усилие, чтобы его до-слушать. Она побежала в учительское общежитие и там из-влекла из чемодана заветную шкатулочку. Среди разных, только для нее одной имеющих цену реликвий — ветки крымского кипариса, голубого бантика с выпускного бала, миниатюрного портрета матери — хранилось единственное письмо Генриха Тэвса. Она давно не брала его в руки, но теперь, бегло перечитав выцветшие уже строки, безмерно удивилась: таким оно показалось ненастоящим, вымученным, фальшивым.

«По словечку из книжек надергал», — подумала она и, ни секунды не медля, на мелкие клочья растерзала пожелтевшие листки. Что-то вроде чувства освобождения охватило ее, когда сгорела в печи пухлая горсточка бумажек.

А возвратясь домой, она сказала Любانه, что на курсах подружилась с пожилым вдовцом-учителем и что он сделал ей предложение. Наталочка не пожелала сразу ответить: попросила на раздумье один год.

Однако вернулась она с курсов какой-то иной: пяльцы с гигантским цветком, вышитым лишь наполовину, унесла на чердак, а сама, несмотря на каникулярное время, стала пропадать в сельском клубе. Там она создала девичий хор и вдобавок взялась руководить драматическим кружком.

— Забавляется! — добродушно проворчала Фелицата. Ей не было известно то, что, краснея и смущенно посмеиваясь, поведала Любانه младшая сестра. Она боялась, что поздний ее роман покажется блажью старой девы, и потому поспешила закончить признание подчеркнуто-рассудительной фразой, в которой все-таки не решилась назвать своего избранника по имени:

— Он знаешь, такой общественник... прямо неутомимый!

Любания снисходительно и мягко улыбнулась в ответ. Она отлично понимала, что стоит за Наталочкиной рассудительностью: этот вдовый учитель проник в ее сердце не только потому, что он общественник, — дело в том, что в безотрадной женской судьбе Наталочки открылся просвет.

Конечно, в сорок лет не может повториться то, что было с младшей сестрой в юности, — ни беспамятных порывов, ни внезапной грусти, ни бурных капризов, сменяющихся безоблачным весельем. Все будет иначе — суровее, спокойнее, ровнее. Но все-таки будет. И зря они с Феленькой думали нынешней весной, справляя сорокалетие младшей сестры, что вот и ее время уходит. Нет, может, еще не ушло, не уходит.

И Любаниа с волнением, с потаенной надеждой отмечала про себя знаки, безошибочно показывавшие, как Наталочка день ото дня изменяется, сбрасывает с себя привычную опечаленность и словно даже молодеет.

Фелицата же ничего не замечала — такой с виду спокойной, прежней, чуть усталой казалась ей младшая сестра.

Уезжая на переподготовку нынешним летом, Наталочка, уже все про себя решившая, как бы вскользь сказала Любани: — Думаю, не следует обижать хорошего человека.

— Да, да, конечно, — согласилась Любаниа.

А про себя подумала: «Так-то лучше, без лихорадки, без сумасшествия, обыкновенно, как все в жизни».

И вот Наталочкина судьба должна переломиться. Но Фелицату пока не надо волновать. Пусть все там прочно образуется.

Но если б выдалась такая радость Феленьке, если б успела она посидеть на свадебном Наталочкином застолье да встретиться с учениками, хоть и не со всеми, — большего в жизни и желать нечего. Только ведь вперед не загадаешь.

Любаниа вздохнула, осторожно высвободила свою руку из-под тяжелого локтя сестры и, как всегда это делала перед наступлением ночи, пошла закрывать ставни.

1965 г.

УТРО МИРА

I

Весна пришла в торжественном громе салютов. Предчувствие близкого конца войны охватило всех от мала до велика.

«Когда кончится война», — повторяла Вера за людьми и вслушивалась в эти слова с удивлением и радостью. «Все живые вернутся», — говорили женщины во дворе и поглядывали на беременную Веру, сочувственно вспоминая ее девятнадцатилетнего сына, солдата, погибшего в первых же боях.

Она молчала. Да, все живые вернутся. Она будет ждать с фронта мужа, офицера саперной части, милого своего Петра. А единственный сын, ее мальчик, ее Леня, не вернется никогда.

Но одна ли она такая?

Ее соседи Невотины, «беженцы» с Украины — бабушка и пятнадцатилетняя внучка Галя, — тоже ведь не ждут с фронта Галиного отца: он пропал без вести. А Галину мать убило пулеметной очередью: фашистский самолет в упор расстреливал толпу женщин и детей, убежавших от гитлеровского нашествия. Швея Евдокия Степановна горевала по единственной своей до-

чери Иринке, связной ополченского полка. И так почти в каждой семье. Разве только одна комендантша их большого дома, кокетливая Катенька, не тосковала о своем муже, славшем ей открытки каждый день: он, конечно, не знал, что возле Катеньки прижился долговязый тыловой офицер интендантской службы. Ну, да непутевая Катенька никому не в пример. На улицах, в саду, на крышах еще лежал плотный снег, сероватый от угольной пыли. Но уже отмерли последние метели, и все чаще на тротуарах стали поблескивать лужицы, в которых с весенней четкостью и глубиной отражались белые облака и опрокинутые глыбы домов. А синева в небе стала особенно глубокой, какой она бывает только весной. И сквозь тошноточадную бензиновую гарь прорывался тонкий, едва уловимый мартовский запах прелой земли и молодой тополиной почки.

В один из таких дней, когда зима еще боролась с весной и торопилась затянуть лужицы ломким, бессильным ледком и с неба сыпалась твердая, как льняное семя, ледяная крупка, к Невוליным заявила белокурая почтальонша и подала письмо в затрепанном конверте.

Письмо было от Галиного отца. Его освободила из гитлеровского плена наша наступающая армия, он теперь лежал в госпитале, надеялся скоро поправиться, снова стать бойцом и с беспокойством спрашивал, живы ли жена и дочь.

Письмо было адресовано соседям НевOLIных по улице родного их городка. Оттуда рука неизвестного друга направила письмо в Москву, в центральный орган по розыску людей, шквалом войны разбросанных по всей стране. Немой, но красноречивый, весь перечеркнутый, лежал теперь конверт перед бабушкой: невероятно извилистым путем дошел он до нее.

Тут как раз Вера вошла в коридор — она возвращалась с прогулки, — бабушка с просветленным, помолодевшим лицом кинулась к ней навстречу.

Вера увела бабушку к себе и три раза подряд перечитала вслух письмо, чтобы каждое словечко запомнилось и раскрылось со всех сторон.

Потом они сидели вдвоем на диване, дожидаясь Галю.

Девочка работала на пуговичной фабрике и говорила с важностью: «Пуговицы тоже для обороны нужны, — сколько их на одни шинели идет!»

Бабушка называла Галю «кормилица моя» и исподволь, любовно подымала в ней, растила рабочую гордость. Сама бабушка принадлежала к старинному шахтерскому роду, зять пришел в их семью тоже из рабочих, из текстильщиков. А погибшая во время эвакуации дочь Варвара была ткачихой...

Галя вернулась с фабрики усталая, оживленная. Ей подали письмо. Девочка пробежала его глазами и в первую минуту словно бы перепугалась: глаза у нее стали большими и страшными. Она присела на диван рядом с Верой, сгорбившись и вся содрогаясь. Но не плакала, а просто молчала.

Бабушка уже успела немного отойти душой, в ней кое-как уложились и радость от внезапной весточки и горечь воспоминаний о погибшей дочери. То, что где-то в иноземном городе на госпитальной койке лежал и думал о них живой, родной им человек, было необыкновенным счастьем. Сквозь бедность их беженского житья бабушка уже видела родной свой домик в зелени, на тихой улице, и обжитой порожек сеней, где сиживала она по вечерам с вязаньем в руках, прислушиваясь к лепетанию молодого тополька у калитки...

Галя и Вера молча слушали бабушку — та оживленно сновала по комнате, собирая на стол.

Когда все уселись, Галя вдруг сказала:

— Некуда нам ехать. Я тебя и тут прокормлю.

Ей никто не возразил. Только после обеда, собирая посуду, бабушка сказала, называя внучку по имени-отчеству:

— Вот что, Галина Степановна. Отца твоего на старые места потянуть может. Там, верно, печка одна от дома осталась, ну да люди и от печи жить начинают. И еще сказать: жизнь свою он захочет успокоить...— Она запнулась, прибавила тише: — Может статься, жену себе найдет. Дело молодое.

Подняв стопку посуды, бабушка скрылась за дверью. Галя, мгновенно превратившаяся в девочку, подняла на Веру испуганные, жалкие глаза, словно искала у нее защиты.

— Главное, девочка, чтобы он вернулся,— глухо произнесла Вера.— Главное, чтобы вернулся.

Она глубоко, судорожно вздохнула, помолчала и шепнула прямо в маленькое, пылающее ухо девочки:

— Не уезжай, как же мы с тобой расстанемся?

Галя все поняла. Руки ее, смуглые, в ссадинах, с поломанными ногтями,— руки старательной работницы застыли на скатерти.

— Вы как мама моя,— зашептала она, вкладывая в эти слова ребячью сиротскую тоску и неутоленную свою любовь.— Мне тоже... среди белого света... искать такую, как вы...

Они еще пошептались немного, и Галя задремала, утомленная долгим, так необычно и счастливо для нее закончившимся днем. Вера уложила ее на диване, укрыла старенькой шалькой, а сама еще долго сидела, раздумывая и вспоминая.

Да, война меняет людей, властно сближает их между собой. В мирные дни Вера отдавала все свои силы, без остатка,

только своему дому, который был ее надежным пристанищем и единственной, всепоглощающей любовью.

Будет ли у нее снова семья? Вернется ли еще Петр? Расставаясь с ней после коротенькой последней побывки, он поцеловал ее и поднялся на ступеньку вагона, потом вернулся, опять поцеловал и шепнул:

— На всякий случай, Веруша... Не забывай.

Вспомнив все это: и сумрачный зимний денек, и серый, холодный асфальт пустынной платформы, и худого, в длинной шинели мужа,— Вера закрыла глаза и в изнеможении откинулась на спинку кресла.

В тот же момент она почувствовала долгий, нежный, сильный толчок — дитя в ней словно потянулось. Она даже дыхание задержала, прислушиваясь и вся сосредоточиваясь на этом ощущении, полном блаженного покоя и счастья. «Озорник!» — произнесла она беззвучно, одними губами, и все мысли отлетели от нее, словно бы под порывом сильного ветра.

Все мысли, кроме одной-единственной, властной мысли о ребенке, которого она ждала.

II

Вечером, накануне первомайского праздника, когда Вера одна осталась в квартире (бабушка и Галя ушли в фабричный клуб, на торжественный вечер), она вдруг ощутила странную неловкость в теле. Страшная боль тотчас же опоясала ее. Вера побелела, перестала дышать.

«Началось», — смутно подумала она, едва удерживаясь от крика. Боль отошла. Вера вытерла со лба пот, с трудом поднялась и стала собираться. Кто же проводит ее в родильный дом?

Она остановилась посреди комнаты, закусила трясущиеся губы,— стало нестерпимо жаль себя.

Но скорее же, скорее!

Она надела пальто и белую пуховую шаль, взяла узелок с бельем, вышла и, нахмутив брови, принялась запирает дверь. Тут ее снова ударила боль, и она едва удержалась на ногах.

Уже не рассуждая больше, она вошла в соседний подъезд и без стука появилась перед комендантшей Катенькой. Минуту позднее они медленно зашагали по тротуару. Катенька крепко держала Веру под руку. Вера молчала и только судорожно стискивала руку озабоченной комендантши.

Катенька никогда не рожала и теперь наивно думала, что ей следует непременно развлекать Веру. И она болтала без умолку о последних дворовых новостях.

— Да, да,— глухо откликнулась Вера. И вдруг она тяжело прислонилась к забору. Искаженное лицо ее покрылось испариной.

— Ой, не успеем! — испуганно крикнула Катенька.

Вера улыбнулась, улыбка получилась жалкая.

— Успеем. Еще не скоро.

Она видела и не видела, как подошли они к родильному дому и ее впустили в светлый вестибюль с пестрым кафельным полом и такими же стенами. Катеньку оставили за дверью.

Потом чьи-то ловкие руки орудовали над беспомощной Верой. Ее вымыли, переодели в просторное, пахнущее хлором больничное белье, положили на жесткую каталку. Она молчала, вся сосредоточиваясь на звериной боли, которая все чаще и чаще накатывалась на нее.

Сколько прошло времени? Что было сейчас, день или ночь, и которая ночь, Вера не знала, не помнила. Каменная, чужая голова продавливала жесткую, будто соломой набитую подушку. Чужим было тело, непрерывно разрушаемое болью.

«Это конец... Пусть только скорее!» — думалось ей в какие-то секунды покоя.

Потом она услышала долгий, хриплый вопль, открыла глаза и не сразу поняла, что это она сама кричит. «Не надо», — хотела она прошептать, но губы не слушались. На потолок, по углам странно плывущей комнаты почему-то раскачивались четыре больших, хорошо начищенных, сияющих примуса.

Крича и уже не слыша себя, она оторвала глаза от примусов и увидела близко над собой потное лицо акушерки.

— Ничего, кричите, милая,— громко сказала та.

Именно в эту минуту, наверное, и родился ребенок.

В комнате стало тихо. Проворно возилась акушерка. Вера медленно приходила в себя. Она еще ничего не понимала, словно выплывая из глубокого омута. Но тут громко и требовательно закричал ребенок, и она, преодолевая мутную зыбь беспамятства, хрипло спросила:

— Кто?

— Девочка! — бодро ответила акушерка.— Девочка.

Она обернулась к роженице и увидела слабую улыбку на распухших, измученных губах: женщина маялась двое суток.

— Воды и кусочек шоколада,— быстро сказала акушерка няне.— Она сейчас уснет.

Маленькая плитка шоколада была передана роженице еще два дня тому назад. Пока неповоротливая няня принесла стакан воды и дольку шоколада, Вера уже закрыла глаза. Уходя в сон, она все-таки выпила воду, а шоколад уже не могли сунуть ей в рот: она спала.

Ее переодели, осторожно уложили на каталку, потом на постель; она безвольно валилась на руки, и только истомленная улыбка не сходила с ее лица.

Это был глубокий, в веках благословенный материнский сон.

III

Еще не совсем проснувшись, Вера почувствовала, что в комнате очень светло. В глаза, едва она их открыла, ударил щедрый свет весеннего солнца. Он лился из больших окон, широко отражаясь в молочной белизне стен, светлые зайчики сияли в никелированных шишках кроватей, ложились на смятые простыни. В комнате очень много было белого, светлого, и в первое мгновение Вера подумала, что это во сне, и ничего не могла вспомнить.

Она с трудом повернула голову и увидела фиолетовые цветы. Это был букет подснежников, стоявший в стакане на ее тумбочке. Тут только она все поняла, вспомнила о дочери и еле слышно засмеялась.

В палате вместе с нею лежали женщины-матери. Их был добрый десяток. Увидев, что новенькая проснулась, они наперебой с ней заговорили, и Вера постепенно узнала, что произошло во время долгого ее сна.

Женщины с ее двора принесли подснежники и письмо, вот этот треугольник из графленой ученической бумаги. И еще они приносили узел с ребячьим бельем, такой большой, что его не приняли и велели оставить для малыша только одну смену и одеяльце.

Девочка у Веры спокойная, темноволосая, толстенная. Ее уже приносили, чтобы покормить в первый раз. Но доктор не велел будить мать.

— Она голодная! — сразу заволновалась Вера.

— Нет, о, нет! — успокоительно сказала соседка Веры, женщина с бледным, тонким, нерусским лицом. — Вы очень устала. Ребенок — хорошо.

Она живо пощелкивала худенькими пальцами, подыскивая нужные слова, большие глаза ее были полны участия. Посмотрев на крошечные часики, она просияла улыбкой и объявила, что через пятнадцать минут привезут «пти» — маленьких. И почему-то с опаской покосилась на женщину, крайнюю в их ряду: та лежала неподвижно, отвернувшись лицом к стене.

Веру положили без подушки, на спину — так она и проспала половину суток и еще сейчас не решалась повернуться, не зная, как обращаться со своим беспомощным телом.

«Какая она?» — думала она о девочке, и все в ней блаженно замирало от ожидания. Чтобы сократить время, она протянула дрожащую руку за письмом и стала читать:

«Милая Вера Николаевна, сердечно поздравляем тебя с новорожденной и вам обоим желаем доброго здоровья. Вера Николаевна, наши взяли Берлин, с победой тебя, дорогая мать! Теперь скоро дождешься мужа и отца...»

Тут стеклянные двери палаты открылись, блеснув на солнце. На высокой коляске, похожие на большие, белые конфеты, лежали и дружно, разноголосо пищали новорожденные.

Вере принесли подушку и ловко положили рядом красненького младенца. Девочка собирала на лбу морщинки, таращила глазенки неопределенного, «молочного» цвета, и одна губа, нижняя, у нее почему-то ушла внутрь, словно она ее сосала. Вера со страхом подумала, что у ребенка неправильный прикус. Она осторожно притронулась к подбородочку, и девочка тотчас же выпустила наружу крошечную розовую губку.

— Озорница,— озабоченно сказала Вера и громко вскрикнула: девчужка, стиснув сосок, энергически зачмокала.

Вера ощутила в груди сладостное, немного болезненное томление от прилива молока. Теперь ей захотелось непременно развернуть ребенка, посмотреть его тельце.

— Нельзя, мамаша,— услышала она за своей спиной суховатый голос сестры и порозовела от смущения.

— А... а у нее нет на теле... ничего... ну, родимых пятен или...

— Ничего нет. Боже мой!..— Сестра зарзительно засмеялась.— Ну почему же должны быть родимые пятна? Ребенок крепенький, смотрите, как сосет. Который это у вас?

— Второй,— тихо ответила Вера.

Няня взяла у нее девочку и привычно положила, почти кинула на согнутый локоть.

Вера проводила няню пристальным, немного ревнивым взглядом и вдруг вспомнила, как двадцать лет тому назад, в такой же весенний, сияющий день они с Петром въезжали во двор на извозчичьей пролетке и Петр неумело держал на руках новорожденного сына, Леню...

Вера застонала, перекатила голову на подушке: она не хотела погружаться в эту нестерпимую боль, она готова была закричать от ужаса, от муки, но у нее хватило сил только глаза закрыть. И тогда ей припомнилось ее последнее, самое последнее свидание с сыном.

Мысленно она еще раз вошла в квадратный двор школы. Здесь размещался призывной пункт, и она сразу увидела Леню в серой блузе десятиклассника, с рюкзаком за спиной.

Она тогда не могла понять, почему он отвечает ей невпопад и все оглядывается на ворота. И вдруг все объяснилось: во двор легко вошла высокая девушка в шуршащем плаще. Она была голубоглазая, статная, выше Лени. Он кинулся к ней с такой поспешностью, что рюкзак неловко съехал набок. Девушка оправила ему ремни, взяла за обе руки, и Вера вдруг увидела, что большие голубые глаза ее полны слез.

Леня исподлобья смотрел то на девушку, то на мать, стоявшую в сторонке, и Вера все поняла, покорно подошла, пожала руку девушке («Таня»,— назвалась та), сказала что-то о лепешках, забытых дома, и ушла со двора. Надо было дать им проститься, поговорить...

А когда она вернулась, пыльный асфальт двора был уже пуст. Так Вера не увидела и никогда больше не увидит своего сына. А фамилии Тани и адреса она тогда не спросила...

— Таня... Таня...— со стоном сказала Вера и открыла глаза.

Соседка заботливо оправила на ней сбившуюся простыню.

— Вы очень, очень устала,— повторяла она, старательно выговаривая слова.— Надо спать... как это? — опять спать.

Вера молча, с благодарностью смотрела на женщину. Говорить она не могла. Да и что тут можно сказать?

— Вы счастливая мать,— зашептала темноглазая.— Я тоже счастливая. Но эта женщина...— Соседка сделала испуганные глаза и осторожно указала на больную в углу.— Она имеет мертвое дитя. Да! Ужасно? Мы кормим свое дитя, она нет... Нет пти. Но спите, спите, милая. У вас есть счастливая, живая дочка. Да?

— Да... живая,— прошептала Вера, вконец обессиленная и уже сонная.

IV

Потекли длинные больничные дни Тихое, утомительно-однообразное лежание на койке прерывалось лишь блаженными минутами свидания с младенцами, когда матери, кормя туго спеленатых дочерей и сыновей, бормочут им ласковые, почти по-звериному бессмысленные слова.

Но младенцев увозили, и опять наступала тишина. Тишина раздвигий, воспоминаний, доверительных бесед.

Постепенно, изо дня в день, Вера все ближе узнавала своих подруг по палате.

Женщина, родившая мертвое дитя, оказывается, недавно получила похоронную на мужа и осталась совсем одна. Она упорно молчала и, когда привозили младенцев, отвертывалась к стене, укрываясь одеялом с головою...

Была в палате и отчаянная «солдатка» — так она себя называла,— родившая ребенка от случайного человека. С неохотой она кормила сына и по ночам потихоньку перетягивала грудь полотенцем, чтобы молоко скорее перегорело.

Своя особая судьба была у темноглазой француженки, соседки Веры. Перед самой войной ее удалось вывезти из фашистского концлагеря в Польшу. Там, в лагере, у нее заболела, погибла и была сожжена в крематории единственная десятилетняя дочь Мадлен. Мужа, подпольного бойца Сопротивления, она потеряла до концлагеря, еще на воле. Какой была теперешняя семья бывшей пленницы, никто не знал, сама она ни словом не обмолвилась о родных, да и запас русских слов у нее был слишком скудным. Расспрашивать женщины не решались, боясь понапрасну растравить сердце и ей и себе.

Вера была самой неразговорчивой и застенчиво-скрытной: она мало о чем рассказывала подругам, а больше раздумывала и погружалась в неторопливые и уже не так сильно ранившие ее воспоминания.

Чаще всего виделся ей Петр. Он вспоминался ей даже совсем молодым, в студенческой тужурке, застенчивый, молчаливый. Он учился в строительном институте и должен был стать инженером-мостовиком. Он и стал им... Но теперь, на войне, не строил мосты, а подрывал их.

Учение давалось ему непросто. Сын бедного крестьянина, он, единственный изо всей семьи, окончил гимназию и пошел в институт. У него, кажется, не было блистательных способностей, но он отличался необыкновенным упорством и трудолюбием. И Вера стала молчаливым свидетелем того, как медленно, капля по капле, росла его трудовая слава умелого мостовика. Они жили в маленькой московской комнатухе, чуть ли не половину которой занимал чертежный стол Петра. Только после рождения Лени их перевели в небольшую квартиру в том же доме.

До войны, в мирные годы, Вере иногда казалось, что жили они с Петром как-то слишком тихо, просто, обыкновенно. Была ли то любовь? Но день шел за днем, год за годом, и Вера поняла: да, это и есть любовь, она всегда с ними, всегда в них. А теперь их накрепко спаяло горе...

Лицо Петра, худое, усталое, странно измененное военной пилоткой (таким он явился в свою коротенькую фронтовую побывку), встало перед Верой столь зримо, что она вздрогнула, облилась жаром и подумала или прошептала: «Люблю тебя, всего люблю, за все, на всю жизнь!»

В его лице, темном от загара, она заметила в ту побывку суровое выражение человека, живущего на войне. В остальном

он был все тот же, привычный, ее Петр, сорокапятилетний, сильный человек, с некрасивым голубоглазым лицом, в котором легко угадывался русский крестьянин, с большими, ловкими руками и тяжеловатой походкой.

Это была их первая встреча — первая после гибели сына. Они не говорили о Лене, но все равно он, мертвый, неотступно стоял между ними.

Вера заторопилась с закуской, развела яичный порошок, положила на сковородку кусочек сала, тотчас пронзительно зашипевшего, а сама говорила, говорила, будто боялась замолчать.

Петр стоял, отвернувшись к окну. Вера наконец взглянула на мужа: плечи у него были подняты, точно он хотел закричать, но изо всех сил сдерживался. Вера подошла, замерла сзади, и именно тут он не выдержал, плечи у него дрогнули.

Не колеблясь более, Вера повернула его и с силой прижала к себе его голову.

— Петя, Петя,— шептала она, впервые в своей жизни слыша мужской плач и страхась его.

Она успокаивала его, гладя по голове, по плечам, потом уложила в постель, заботливо спустила штору. В сумраке Петр взял ее за руку, тихо сказал:

— Ты у меня, Веруша, лучше всех, девочка моя.

И она несколько не удивилась, что он ее, сидящую, назвал «девочка моя»,— ведь их соединяли двадцать долгих лет жизни...

Тут видение затуманилось, стало отходить, Вера услышала, словно из-за стены, слабый голос:

— Мамаша, а, мамаша! Спишь, что ли?

Она открыла глаза.

Над нею, держа в руках корзинку с передачами, стояла старая няня. Она подала Вере кулечек с печеньем и записку. В углу записки поспешно нацарапано было: «Тетя Верочка, напишите ответ, это я жду, Галя».

Кулечки и письма приносили Вере каждый день, — женщины с ее двора ходили, наверное, по очереди. А теперь вот прибежала Галя, курносая девчоночка, пуговичная мастерица. И, как всегда, на Веру словно теплым ветром пахнуло и от немудрого письма и от немудрого угощения. Захотелось понастоящему, неторопливо ответить заботливым подругам.

Она подробно написала о дочке: как она спит, сосет грудь, прячет нижнюю губку. Подумав, прибавила:

«Мне иногда кажется, она смотрит на меня с упреком, но это, конечно, одно воображение. Какая же она беспомощная, мягонькая, и я все боюсь, что няни могут ее сломать. Очень ее

люблю, очень, уже беспокоюсь о ее судьбе и всем готова для нее пожертвовать. Не стара ли я для нее? Мне ведь уже сорок лет. А Леня все стоит перед глазами. В одно время и радуюсь и плачу. Не думала, что так может быть. У моей сестры перед войной тоже умер сын, единственный, и потом родилось позднее дитя, девочка,— эту девочку в семье ласково называли «заплаткой». Теперь сама вижу: нет, не заплатка...

Спасибо вам, дорогие подруги, всем спасибо, мне здесь даже завидую, чувствую себя будто в семье. Пишите мне, радуюсь каждой строчке...»

Няня унесла письмо, и Вера, успокоенная, задремала. Показалось, что прошло лишь несколько минут,— разбудила ее та же няня. Молча она протянула письмецо — точно такой же аккуратный треугольничек из графленой бумаги.

— Прилетела опять твоя курносая,— с притворным недовольством проворчала она.— Говорю, нельзя, кончились часы, не приму. Так она заговорила меня, затараторила: «Письмо общественное, а мне на фабрику, в вечернюю смену, уж пожалуйста!» Наверно, дочка она тебе? Или чужая?

Вера ответила коротко:

— Не дочь. Но и не чужая.

Няня, ничего не поняв, покачала головой и тихо вышла.

«Ты совсем даже не старая, Вера Николаевна,— написано было в ответном письме,— родишь ведь всего второго. А на годы не смотри, да и не такие они поздние. Ребенка вырастишь и для себя поживешь. А горя своего не трожь, оно никуда от тебя не уйдет, всегда шатром над тобой стоять будет. Будут рядом жить и горе и радость — в жизни все так. Не мучь себя понапрасну, давай себе волю, и поплачь, и посмейся...»

Вера перечитала письмо, медленно шевеля губами, улыбнулась: она поняла, что письмо продиктовано было бабушкой Невוליной.

V

Все шло хорошо, и Вера стала ждать выписки в положенный срок: давно уже она высчитала, что это произойдет утром десятого мая. Но чем ближе подходил срок, тем нетерпеливей становилась она: скорее, скорее на волю, к людям, жившим, наверное, сейчас в радостном ожидании победы.

Да. Победа свершилась, фашисты поставлены на колени, их крикливого «вождя», кажется, уже нет в живых. И пушки замолчали — об этом хорошо было известно даже здесь, в тихой больничной палате. Но все равно люди ждали, ото дня ко дню.

от часа к часу, когда победа над Германией будет торжественно возвещена, объявлена по радио.

Ликование стояло у порога, но рупоры на улицах Москвы еще молчали.

И только майскою ночью, в третьем часу, перед рассветом, голос диктора, памятный каждому советскому человеку тем, что, ничего не утаивая, говорил в страшные месяцы сорок первого года о фашистах под Москвой,— знакомый, звучный голос диктора возвестил наконец о полной капитуляции Германии и о празднике Победы, назначенном на 9 мая.

Вера проснулась оттого, что кто-то, смеясь и всхлипывая, тормозил ее и целовал куда попало: в щеки, в нос, в волосы.

— Виктуар, виктуар!.. О, наконец... не пугайте... О, наконец! — шептал тихий, прерывистый голос.

Вера узнала соседку-француженку, Аннету, как ее называли в палате, и села, ничего не понимая.

— Победа! На улице кричат,— объяснила ей больная с койки в углу, та самая, у которой родился мертвый ребенок. — Встаньте, посмотрите!

Впервые эта больная заговорила так громко; голос у нее был низкий, контральный, властный.

Изю всего десятка женщин одна Вера готовилась к выписке и была «ходячей», поэтому вся палата смотрела на нее с нетерпеливым ожиданием.

Вера заволновалась и никак не могла попасть ногою в туфлю. Наконец справилась, подошла к окну. Сердце билось гулко, с болью, она придерживала его ладонью.

В переулке, синеватом от предрассветных теней, заметно было смутное движение. Окна большого дома напротив непривычно, все до одного, освещены. Присмотревшись, Вера увидела у ворот этого дома две фигуры. Мужчина и женщина. Мужчина стоял на приземистой лесенке, спиной к Вере, и что-то прикреплял к стене дома.

«Флаги вешают,— догадалась Вера.— Настало ведь утро... утро мира».

— Ну? Ну? — услышала она за спиною, повернулась к подругам.

— Поздравляю... дождались! — сказала она с запинкой, по-рывисто вздыхая.

В ту же минуту послышался шепот француженки Аннеты, смотревшей на нее глазами, полными слез:

— Мадлен, о Мадлен!

Вера подошла, села на постель и осторожно обняла женщину.

Да, они, матери, вспомнят прежде всего о своих погибших

детах... Аннета задрожала, забилась у нее в руках, тщетно пытаясь сдержать исступленные рыдания.

— Ma pauvre petite! — проговорила она, и Вера опять поняла все, потому что это был голос материнского горя, одинаково понятный на всех языках мира.

Путая русские и французские слова, захлебываясь слезами, Аннета говорила:

— Моя бедная девочка! Ты могла бы стоять рядом со мной в эту великую минуту. Проклятье твоим убийцам! Милая, если б я могла верить, что ты сейчас видишь меня... Милая, ты унесла с собою мое сердце. Мне надо найти в себе силы, чтобы полюбить твою маленькую сестру. Это еще такой беспомощный комочек... комочек моего тела... О Мадлен, Мадлен!

На рассвете привезли ребятешек.

— С победой! С миром! — приговаривали няни, ловко подваливая к матерям спеленатых малышей.

Больная в углу впервые не отвернулась к стене. Взгляд ее, лихорадочно блестящий, вопрошающий, останавливался то на умиротворенных фигурах женщин, то на белых, живых свертках младенцев, с нежной ненасытностью прилипших к соскам. Некоторые младенцы громко, протяжно причмокивали и захлебывались молоком.

Зрелище это, наверное, причиняло одинокой женщине нестерпимую боль.

Вера встретила с ее тоскующими и голодными глазами и нерешительно спросила:

— Вам сегодня немножко лучше, правда?

— Да,— безучастно ответила женщина.

И Вера замолчала, виновато опустив голову: ничем она не могла помочь этой осиротевшей жене и матери.

Сама она, Вера, была куда счастливей: рядом с ней дочка, и с войны она ждала Петра, а войне пришел конец!

«Где ты сейчас, Петр?» — с замиранием сердца думала она.

В последний раз он приезжал домой с фронта почти год назад. Тогда была ранняя осень, клены в их дворе стояли багряные,— Вера как раз и думала о кленах, возвращаясь с работы из мастерской, когда увидела возле ворот одинокую фигуру военного. Он был без пилотки, руки заложил за спину, и во всей его фигуре, немного понурой, угадывалось что-то такое родное, милое, невозможное ни в ком другом, что, веря и не веря себе, она побежала к нему и с разлета попала в крепкие объятия.

— Ну, наконец-то!

Он устремил на нее долгий, серьезный взгляд и снова поцеловал.

— Я заждался тебя. Пропавшая...

Узнав, что она ездит в мастерскую на трамвае с двумя пересадками, Петр умоляюще сказал:

— Ты смотри, Веруша, осторожнее.

— Что осторожнее? — не поняла она.

— В трамвай на ходу не садись.

Вера даже руками всплеснула:

— Господи! Из-под бомб приехал и еще не разучился думать о трамвае!

— Я не о том,— серьезно ответил Петр.— Ты, Веруша, ведь у меня одна осталась.

— Знаю,— не сразу, смущенно откликнулась она...

...Няня взяла сонную девочку, и Вера легла свободнее, закинула обе руки за голову, отдыхая.

В тот вечер они с Петром говорили о войне, вернее, говорил он, а Вера сидела возле лампы и слушала.

Уже давно минуло время, говорил Петр, когда он и его товарищи своими руками рушили мосты, советские мосты, созданные такими же, как и он, мастерами. Конечно, саперы верили, что все будет построено снова. И не кое-как, на живую нитку, чтобы только пройти вперед, как это они делают сейчас, а еще прочнее и красивее, чем было раньше. Но никогда не будет забыто страшное разрушение, и стыд, и муки тех дней и ночей.

— Ты ведь знаешь, на фронте я вступил в партию. Я коммунист теперь.— Голос у Петра зазвучал глуховато и достоверно.— Мне это было необходимо. В те дни даже мысль о победе была далекой и трудной. Видела-бы ты, как меня принимали в партию. Сейчас же после атаки, один рекомендатель погиб, другой сидит весь перевязанный. Грохот и вой кругом, все мы черные, как черти, потные, злые — атака неудачная была, с большими потерями. Я успел только сказать, что верю в победу, а потому и вступаю. И мы протокол написали, а часа через три опять пошли в бой.

Он замолчал, задумался, словно бы припоминая что-то.

— Говори, говори,— тихонько попросила Вера.

— Я много видел, Веруша,— медленно, тихо произнес он.— Даже слишком много для одного человека. Видел разрушенную плотину Днепрогэса и керченский ров видел... Что ты так на меня взглянула? Да, я видел, и не только керченский ад. И все это валилось на меня, все надо было перенести. Ни один человек, я думаю, не вернется с войны таким, каким вышел из дому. Но дело не в этом...

Он встал, медленно прошелся по комнате, стараясь не греть сапогами, остановился над ней.

— Главное, что мы теперь непобедимы. Мы слишком много пережили, чтобы еще когда-нибудь отступать. Да какое там отступать, мы идем вперед, и ничто на свете нас не остановит. Вот мы, саперы и строители, рабочие войны, если нужно, сутки стоим по брюхо в ледяной воде и строим переправы, вязнем в трясинах, валим лес под огнем. И никто не думает, что он всего только человек, что ему холодно и он устал, как верблюд. Война — это тяжкий труд, Веруша. И война — это подвиг, кровь, смерть и снова подвиг. И вот я думаю: не остановимся мы, пока не войдем в Берлин. И я тоже бываю в Берлине... верю в это...

Он наклонился над ней и прошептал в ухо:

— Мы с тобой слишком много потеряли на этой войне, чтобы не верить...

«Слишком много», — шепотом повторила Вера, но уже не задохнулась, не заплакала: слишком необыкновенным, радостным, полным надежд было это утро, первое утро мира.

VI

Весь этот длинный пасмурный день больница жила словно в прибое океанских волн. Крепкий ветер счастья раскачивал, нес на себе дом с белыми высокими комнатами, где в древнейших муках рождался юный человек.

Львиные шумы праздничных людских толп врывались в раскрытые фортки.

Все, кто мог двигаться на слабых ногах, не отходили от окон. Стояли и, глотая радостные слезы, рассказывали подругам о том, что улицы черны от народа. Матери и отцы несут детей на плечах, как это бывало раньше, до войны. В толпе застрял и едва движется поток машин; всех военных толпа встречает приветственными криками; а иных несет на руках...

Вечером прозвучало приветственное выступление Сталина, прогремели могучие залпы победного салюта, и над Москвой загорелся купол из разноцветных прожекторов.

Вере позволили выйти к калитке, и она, дрожа от возбуждения и слабости, долго смотрела на праздничное небо, где скрещивались, расходились и снова скрещивались гигантские лучи.

Она не сразу разглядела в глубине пылающего неба пурпурный флаг Родины: он мятежно плескался на ветру в пронзительно голубом скрещении двух прожекторов.

Скоро Веру позвали в палату: наступил час вечернего кормления. Детей уже привезли, и ее девочка, единственная оставшаяся на коляске, недовольно кряхтела.

Вера привычно проделала весь несложный ритуал приготовлений, взяла девочку и осторожно опустила на подушку. В руках надолго осталось ощущение крохотной тяжести родного тельца. Девочка крутила головенкой, рот ее был раскрыт, приготовлен.

Вера откинулась на подушку.

В палате стояла глубокая тишина. Отсветы прожекторов, преодолевая ночные тени, бродили по потолку и по стенам, за окнами глухо шумела улица.

Первый день мира подходил к концу. Он был так значителен, этот первый день мира, он так много обещал и вместе с тем поселял в человеке такие сложные и неясные раздумья, что хотелось проводить его в вечность молчанием, по крайней мере вот здесь, на больничной койке.

Так же или, может быть, примерно так думала и соседка Веры, французенка Аннета, лежавшая неподвижно, обняв свое дитя.

Встретившись взглядом с Верой, она прошептала, словно боясь нарушить тишину палаты:

— Я буду называть своя дочь Виктория. Это значит «победа» по-русски. Да?

Она улыбалась, счастливая, но где-то в глубине ее темных глаз тлело горе.

— Да, да, Виктория — это красиво, — так же тихо ответила Вера и смолкла, думая о своем.

На руке у нее лежало дитя, ею рожденное, несметное ее богатство, ее мир, ее сердце, вынутое из груди. Что ждет тебя, маленькая?

— Аннеточка, — обратилась она к французенке. — А вдруг опять будет война?

— Война? — Французенка с ужасом взглянула на Веру, потом на свое дитя. — Надо — нет война! Нет! — со страстностью, в полный голос сказала она.

Обе женщины, и Вера, и французенка Аннета, прижимающие к себе малюток, едва рожденных, на одно мгновение представили себе, сколь они беспомощны, две слабые женщины на больничных койках, перед каким-нибудь снарядом или бомбой невиданной, адской мощности, уже изобретаемыми где-нибудь в смертоубийственных мастерских войны.

Увы, есть еще люди на земле, чающие войны.

Но неужели человечество, едва зализав зияющие свои раны, позволит разразиться новой войне, не сумеет защитить от нее своих детей?

«Франция, родная моя земля, — думала Аннета. — Какую восстанешь ты из пепла? Не забудь унижений, рабства, нищеты,

смертей, что принесли с собою фашисты. Не забудь колючей проволоки лагерей, на которой распяты твои патриоты. Не забудь смертных дорог, по которым текли людские толпы, расстреливаемые гитлеровскими пиратами. Не забудь кораблей Тулона — они предпочли смерть на дне моря фашистскому рабству. Я заплатила войне неисчислимой ценой. Я оставила за проволокой пепел моей Мадлен и не знаю безвестной могилы мужа. Я все помню. И я спрошу с тебя, моя Франция!..»

«Мы победили, мы, русские! — с гордостью думала Вера. — Я ведь могу так сказать: я, солдатка, мать Лени. Мой народ прошел с боями по своей земле, по своей крови и дошагал до Берлина. Мы едва не погибли сначала, но теперь, я думаю, мы самые сильные. И мы не захотим войны. Так думаю я, женщина, мать

Завтра мы с маленькой уйдем отсюда. Начнется новая жизнь. Маленькая будет лежать в колясочке, в твоей комнате, Леня. Теперь это ее комната. Ты ведь никогда не вернешься.

Но как мы назовем маленькую, Петя? Ты, Петя, конечно, подумаешь прежде всего о том, что Леня не вернется. Никогда не вернется. Подумаешь и промолчишь.

Как же мы ее назовем, крошку? Говорят, есть счастливые имена и несчастливые. Я в это не верю. Знаешь, Петя, ей нужно дать имя бедной моей матери: пусть она будет Ольга. Прекрасное имя — Ольга.

Но что ждет тебя, маленькая? Ты смотришь на меня с тайной пристальностью, как будто о чем-то спрашиваешь.

Могу только одно сказать: люблю, люблю! Готова сгореть для тебя на медленном костре. Только бы ты была счастлива, мое сердечко. Я отдала войне половину жизни и до конца своего пройду с незаживающей раной. Но думаю так: мы не захотим войны, мы ведь никогда ее не хотели.

Хочу верить в мир.

Леня, мальчик мой, хочу верить в мир. Вот эта крохотка, это мое сердечко поможет мне жить и верить без тебя».

Вера даже приподнялась, чтобы лучше увидеть личико дочки, которая уже насытилась и выпустила сосок. Темные глазки ребенка как будто последовали за ее движением.

Их неопределенный, бессознательно-неподвижный взгляд показался ей загадочным...

СОДЕРЖАНИЕ

Сухореченские сестры	3
Утро мира	31

Надежда Васильевна Чертова
СУХОРЕЧЕНСКИЕ СЕСТРЫ

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

А 00519. Подписано к печати 22/XII 1967 г. Формат бум. 70 × 108¹/₃₂.
Объем 2,10 условн. печ. лист. 2,82 учетно-изд. л. Тираж 108 650
Изд. № 2346. Заказ № 3221. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

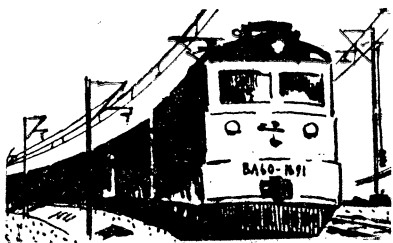
Цена 6 коп.

Индекс 70668



Граждане!

**НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ!
ПРИ ОСТАНОВКЕ ПОЕЗДА ВЫХОДИТЕ
НА ТУ СТОРОНУ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ
ПОСАДОЧНАЯ ПЛАТФОРМА.
ВЫХОДЯ НА МЕЖДУПУТЬЕ, ВЫ РИСКУЕТЕ
ПОПАСТЬ ПОД ПРОХОДЯЩИЙ ПОЕЗД.**



**Оберегайте себя
и других
от несчастных
случаев**